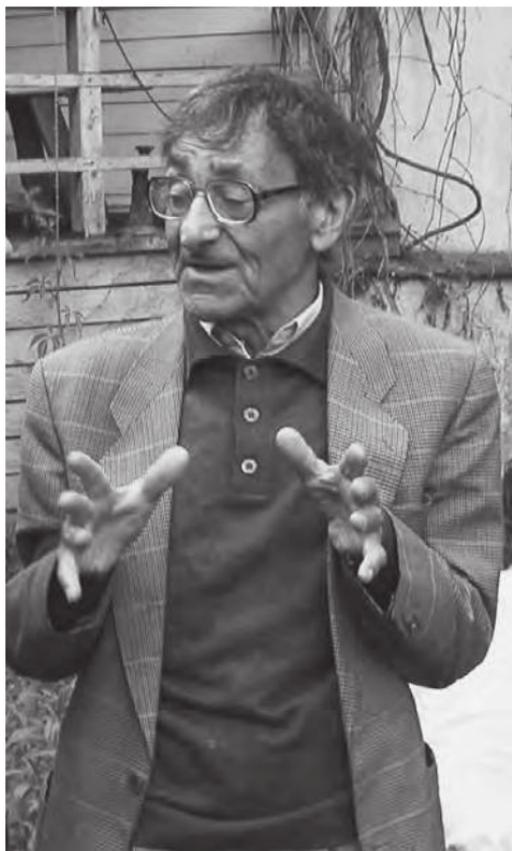


ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ



Георгий Гачев. 2007 год. Переделкино.
Фото Леонида Латынина

Книга в журнале

НЕСКОЛЬКО ПРЕДВАРЯЮЩИХ СЛОВ

Философ, культуролог, литературовед Георгий Гачев принципиально не разделял в себе человека мыслящего и человека живущего. Его основной жанр — жизненно-философский дневник, в котором были сплавлены воедино опыты повседневности и труд творческой мысли, более того — сама повседневность представляла лучшую смыслом, продуцировала сюжеты для умозрения.

Принцип Юрия Олеши «Ни дня без строчки» Гачев мог бы перефразировать на свой лад: «Ни дня без записюрьки». День за днем каждое утро, как священник, который не может пропустить литургию, Гачев брался за бумагу и ручку или садился за пишущую машинку, начиная ежедневный труд умозрения. «Мое алтарное утро» — так называл он эти часы собеседования с Бытием.

Из опытов жизнемышления каждого дня слагались тома ежегодных «писаний», составлявшие то 800, то 1000, то 1200 страниц: листы, покрытые рукописными или машинописными текстами, перемежаемые вкладками текущей жизни: рисунок младшей дочери Ларисы или милые каракули внучки Верочки, записка от Светланы Семеновой, программа симпозиума — в Болгарии, Казахстане, России, телеграмма из Брянска от бывшего ученика или письмо из Перми от писательницы Нины Горлановой... Они то просто оседали между страницами дневника, свидетельствуя вслед за Гачевым, что «каждый миг жизни священен», то становились завязью жизнемысли, когда этот миг нужно «осмыслить и записать».

Биография Георгия Гачева — от тридцатитрехлетия, когда создавался текст «60 дней в мышлении», где тогдашний сотрудник отдела теории литературы ИМЛИ дерзко «смешал жанры», до последней записи от 23 марта 2008 года, сделанной перед уходом на станцию Переделкино, откуда он уже не вернулся, — запечатлена в его ежегодных «писаниях» день за днем. Первые же десятилетия не имели такой самофиксации и на фоне ежедневных записей второй половины жизни выглядели стершимся полотном, заброшенным колодезцем, из которого давно не черпают воду.

Восстановить образы на полотне времени Гачев решил в 2003–2004 гг. Свое «Жизнеописание» он стремился довести до момента, когда ежедневный труд само- и миропознания через дневник жизнемыслей стал для него непреложным. Писался мемуарный текст в два «присеста» — в августе-сентябре 2003 и июле-августе 2004 гг. Как и в других «жизнемыслях», Гачев не ограничивался только эпохой, в которую возвращался мыслью и памятью, но переслаивал текст текущими сюжетами и умозрениями, протягивая от них смысловые нити к далекой поре детства, взросления, юности, зрелости... Собеседовал с собой тогдашним из горизонта сегодняшнего. Писал, не

рассчитывая на печать, ориентируясь на Истину и Абсолют, как будто стоя перед лицом Божиим, и, как на исповеди, не утаивал совершенные ошибки, грехи, не поддавался соблазну приукрасить себя в угоду биографической «легенде», не боялся показаться нелепым. В 1990-е — 2000-е годы, готовя к печати книги, написанные в предыдущие десятилетия и долго лежавшие в «могиле стола», Гачев часто цитировал в автокомментариях пушкинское «Воспоминание», в молодые годы положенное им на музыку. Так и теперь, когда труд жизненного мышления перерастал в труд жизнеописания, воскрешая прошедшее, он не смывал «печальных строк».

В будущем собрании сочинений философа, которое из замысла должно перейти в воплощение, «Жизнеописание Георгия Гачева, составленное им самим», будет открывать первый том, давая ключ к интеллектуальным путешествиям жизненного мыслителя по пространствам литературы, культуры, национальным мирам и лабиринтам естествознания и одновременно резонируя с ними, обретая полноту и объем в дневниковом принципе гачевских книг, в неотъемлемом от «ученых» сочинений их личном пласте, в том «соре», из которого, как демонстрирует Гачев, растут не только стихи, но и мысли. Ныне же этот текст является в своей самостийности, печатается как отдельное авторское произведение.

Готовя «Жизнеописание» для журнала «Литературные знакомства» и его рубрики «Книга в журнале», мы старались по мере возможности сохранять в нем фрагменты, касающиеся сюжетов текущей жизни и мысли Георгия Гачева. Там, где эти сюжеты опущены или даны частично, стоит знак купюры. С единичными купюрами дается и текст воспоминаний, отдельные фрагменты которых печатались в книге Г.Д. Гачева «Философия быта как бытия» (М.: Академический проект, 2019), подборках «Гачев-ученик и Гачев-учитель» в журнале «Духовно-нравственное воспитание» (2020. № 3) и «Человек завета» (Литературная газета. 2015. № 16. 19 ноября).

При подготовке текста сохранены особенности авторской орфографии и пунктуации. Небольшие подстрочные примечания принадлежат Г.Д. Гачеву и А.Г. Гачевой (в первом случае это специально отмечено). Текст сопровождается фотографиями, большая часть которых в свое время была подобрана самим Георгием Гачевым.

Сердечно благодарим редакцию журнала «Литературные знакомства» и особенно — главного редактора Лолу Уткировну Звонареву за предоставленную возможность публикации «Жизнеописания» Георгия Гачева.

Анастасия, Дмитрий, Лариса Гачевы

Жизнеописание свое предпринимаю

2.8.2003. Давно уже дочь Настя предложила мне написать течение моей жизни — вспомнить. Ибо когда помру, ей неоткуда будет узнать, расспросить, а, может, понадобится — для каких внешних вопрошателей и исследователей: как сложился такой-сякой ГАЧЕВ Г.Д. — как все же некий феномен жизни и культуры в ушедшем поколении — некая красочка.

А ведь действительно: если вторая половина жизни зафиксирована в дневнике жизнемыслей и проявлена во внешней деятельности и изданиях, да и уже на глазах дочерей, — то первая — «покрыта мраком неизвестности» — таится во мгле. А и следы документальные отсутствуют: мой архив: дневники и письма держал я у Берты, первой жены, и сложил в картонную коробку — и беспечно вынес на балкон летом, а спохватился, когда осенью или зимой пошли дожди — и все промокло и погибло, так что Б. даже отрицала, что коробка с архивом вообще была (нечистая совесть: должна была уберечь!). А я — в перепутье меж двух жен чуя вину перед нею, — как-то принял как положенное мне наказание... Но какой ужас и невозможная утрата! Там и письма Лихачева и Лотмана, и Бахтина — если уж с общекультурной ценности подходить. Но ценнее — человеческие документы и письма мои и мне: Трегубова, Нат. Алекс. Вишневской. Ноэми Городинской — моей первой любви... Может, у матери что сохранилось от детства и отрочества моего? Надо будет у Ларисы, кто над архивом Бабуся любимой бдит, — покопаться: бережно мама хранила мои письма и вокруг...

Заодно — восстанавливая свою жизнь, и образ Мамы напишу: давно Лариса просит: как я написал про Отца¹, — так и про Мать² — воспоминание сыновнее о родительнице — осмысление ее.

Да, первая половина жизни: как доистория, как «до нашей эры» — а ведь все там закладывалось и складывалось существо, что потом проявится в творчестве и произведениях и предметах, вещах — как ЯВЛЕНИЯХ — феноменах объективного опыта культуры. Но СУБСТАНЦИЯ сего, что под ними — как ВЕЩЬ В СЕБЕ — все равно позади, в той глубине и мгле до проявления в опытах деятельности и творчества и поведения в истории уже объективной жизнедеятельности и биографии.

Ведь как бы интересно: Достоевский дитя и отрок — восстановить как? Кто расскажет? Хорошо: умер еще рано и сверстники живы — как вон о Пушкине — расскажут, ибо был при жизни знаменит и привлекал интерес... А тут, как бы: сам избрав бегство от социума при жизни и из культуры — в исчезновенное писание в стол — бежав с ярмарки тщеславия культуры и печати... — кто ж о тебе посвидетельствует?.. Вон Тасалов-эстетик: встретив как-то меня в 70-е годы, удивился: «Ты жив? А я думал — умер!..» Когда я после скандала

¹ Дмитрий Иванович Гачев (1902–1945) — болгарский эстетик, критик, музыкант, отец Г.Д. Гачева.

² Мирра Семеновна Брук (1904–2001) — музыковед, педагог, мать Г.Д. Гачева.



Димитр Гачев и Мирра Брук. Москва.
1935. Архив семьи Гачевых

с «Содержательностью форм» исчез из печати и из «тусовки» литературоведческой и эстетической...

Кто свидетель большой части моей жизни, так это Бочаров Сергей: у него память — на кто что говорил когда и любопытство к человекам. Но ведь — одноклассник... Дай Бог ему здоровья и долголетия — дожить до вопрошения исследователей о его приятеле Гачеве!.. Смешон сей угол зрения меня на него — и таковой ракурс его оценивания: как копилкой памяти обо мне и прочих сверстниках... А так-то меж нами естественно соперничество спортсменское: кто кого перегонит на дистанции жизни — переживет, кто кого похоронит?..

Но прочь! Все это — внешние ображения. А ведь ты накануне таинства: в преддверии входа в ТОТ СВЕТ СЕБЯ — в Аид свой, в Добытие себя — нынешнего, известного и вот такого...

И вот из мглы Памяти начинают выкапываться проблески — всполохи-просветы-зарницы из разных полос жизни: из того, что не вспо-

миналось и забыто, потонуло, казалось. Вроде без надобности было доселе зарываться туда. Все манило мир познать, наружу, ну и себя — нынешнего, текущего, вот тут существующего. А ТОТ Я — недосуг и ни к чему: он ведь уже умер — и не задевает-мучит, как вот сегодняшней ночью в поезде стычка с женою...

Но уже нашел способ — успокаивать себя: погружаться в сей ареал Памяти: БЕГСТВО В ДЕТСТВО! И приблизя к душе себя семилетнего, с отцом пошедшего в 1-й класс, — легко улечуиваюсь, упархиваю от остроты зацепок с женою сейчас: кто она? откуда появилась и чего это значит и давит?.. Отдаляю сей миг...

А и чем не предмет — для долгого труда и погружения и исследования? Почему даже «Национальные образы Бога» нейдут у тебя, ибо не захватывают за живое-ретивое? А этот предмет — чувствую — может увлечь. А и — надобен...

Но как наваливается разом из разных эпох жизни! Смогу ли в дисциплине последовательности описывать?.. То ли дело — текущие жизненные мысли писать: что сегодня задело — то и имеет право и берет его — твои мысль и слово. А из Памяти — как сидели на скамейке зимой с Эми Городинской на Гоголевском бульваре в 1950-м — и как сползал с бронзовых львов там же — ребенком: память в жопке сидит от гладкости скатывания-сползания — равноправны на слово.

Как совместить дневник текущей жизни и жизнеописание?

3.8.2003. В деревне под Ларисиной березой и под ричеркар Баха — в своем пространстве-времени я — присущем мне. Косил с утра: заросло все злое — сорняк и бурьян, а все доброе: кабачки, огурцы — не выросли — без хозяина-то: полмесяца не был.

По воду мимо Разгуловых¹ прошел — и зашел. Они все тут — и все выросло: кабачки лежат, банки закрыты — с ягодами, грибами...

— Вы — оседлы, а я скитник, кочевник.

— Зато после перемены — оценили место свое и дом, — Разгулов.

— Это верно. Знаете проклятие цыгана — мне там врач сказал? «Чтоб тебе все было одинаково!» — без перемен.

— Вот именно! Вы это запишите.

— Записал уж.

Несу ведра после посещения их — думаю: они = Теон, а я = Эсхин (из баллады Жуковского). А я — сам у себя и Теон = вот вернувшийся в деревню и полжизни тут проводящий — и Эсхин = странник романтический по весям мира — умом и телом...

Что ж: так тебе присуще: и Фаустианство, и Филистерство-домоседство мещанина-семьянина...

Да, раздвоен я в принципе, размножен... И не могу быть центрирован на Едином = на Боге. Персонаж я сенситивный, эстетический, чья вера — Жизнь! Изобилие Бытия.

Это я додумываю сюжет, на который вчера напал: писать Жизнеописание свое — и отложить тему «Нац<иональные> образы Бога» — такую великую и общезначимую — и противопоставив ей мелочишку истории своего жизнепрохождения... И тогда задумался: а когда и задумывался ли я в детстве о Первопричине Всего = о «Боге»? Наверное, да, конечно — задавал родителям вопросы: «почему?» — но чем удовлетворялся? На каком ответе? Был ли пытлив до конца?.. Наверное — нет: уставал и утолялся наличием разных причин. Недаром так по душе мне пришлось в отрочестве олимпийская ми-

¹ Разгуловы — Михаил Михайлович Разгулов (1938–2018) — хирург-трансплантолог, ученик и продолжатель дела одного из родоначальников трансплантологии В.П. Демихова, и его жена — Тамара. Как и Г.Д. Гачев, купили деревянный дом в деревне Новоселки, где проводили весну, лето и осень.

фология, когда по письмам отца с Колымы стал литературу Древней Греции читать... Многобожие! Таков и сейчас я: люблю и чту многопричинность — и даже САМОпричинность всего и всякого... Разнообразие миров и богов и состояний и пониманий...

Надо было у Мама спросить — про мое вырастание и эти вопросы и какие на ее взгляд особенности у меня и во мне?.. Но — поздно!.. Внешнего взгляда на себя объективного — не восстановить. А придется изнутри взрывать-вскапывать толщу, «культурные слои» как археолог — наслоения в напластовании полос-эпох-понятий в пирамиде меня.

Вопрос, что вынес в заглавие предыдущей записи, — волнует и ведет. Ведь не могу же я отказаться от осмысления опытов текущего жизнепроедания и уразумений общих, истекающих из нынешних микро, что задевают за живое-ретивое и что просятся на мысль-слово и обладают волей быть-стать уловленными и выраженными, — обладают «достаточным основанием», необходимостью на это делание мною, — тогда как тот или иной всполох-воспоминание, прорезь из прошлого — необязательны быть схвачены именно сейчас. И напротив: вон про период детского «почемукания» вспомнил я как? А именно — из стыка сейчас возможных мне тем-проблем: «Бог» и «Моя Жизнь», что задело, раздражило, обеспокоило меня сейчас: что делать? — как вопрос поведения и предмета и вектора-курса мышления...

Но так ведь и далее будет. Даже если я смогу дисциплинировать себя и настроить строго-предметно писать шаг за шагом свои «Детство, Отрочество и Юность», — неминуемо будут примешиваться соображения из сейчас — как суждения на тот или иной опыт и момент тогдашний... Что же? Отсекать их — и обрывать на забвение, на помойку, как отходы, выбрасывать За Бытие теля, которое, подлинное, — то, которое вспоминаю?.. Будто так!? Вспоминаемое = вторично производимое, воскрешаемое = искусственное, деланное, значит, преломленное, облуженное пока через трубу памяти, воспоминания, как сквозь строй, проводимое, вытаскиваемое... Не настоящее и не достоверное — в отличие от ныне волнуемого и схватываемого «ин стату насценди» — в состоянии рождения, живьем... Хотя и это тоже — по воле интереса мысли при этом или зуда боли — овториченное... повторенное...

Настроясь на Жизнеописание, примерять я стал к образцам: Толстой, Горький, вон у Разгулова «Детство Темы» Гарина взять?.. Или вон «Исповедь» Августина тут лежит... Последнее — текст «а тез»: прицельно проследживает путь возрастания в Боге и с осуждением своей дохристианской жизни. Тут — линейно идеологически строится текст. Но родственен моей затее — впусканьем мышления и рассуждения о себе том и на темы те...

А как писатели: Толстой, Горький, живописуя сцены и случаи, людей характеры, обстановку и пейзажи?.. — так не смогу вовлечься и погрузиться в тогдашнее, — эпически повествуя...

Ну ладно: как получится. Попробуем...

Но вот уж и время вышло моего утреннего сеанса-транса писания: две странички — мера и норма ныне сего — написана, да и полдень — подвигаться-поработать надо. Еще и соседка пришла — Вера Никитична — навестить, принесла огурчиков, поговорили о новостях в их и нашей жизни. Тут Лариса приезжала на два дня — говорила: так любит деревню — тут золотое детство!.. Но —

Что ж, все — полосами в жизни. Смысл обзаведения меня избой в деревне 30 лет назад — был, чтоб им создать золотое детство — в своей усадьбе в дворянском гнезде, на природе — и в проникновенном вырастании с родителями, от них питаюсь: мать — любовью и идеями (Смерть-воскрешение, Федоров...), я — читал им классиков: и мифы Греции. А теперь пора прошла — разлетелись — и деревня уж доживает остаточное в наших жизнях существование... <...>

Бокаччо «Жизнь Данте»

4.8.2003. <...> Вчера усмотрел у соседа Милоша книгу: Бокаччо — и там Жизнеописание Данте. Взял и читал — в поучение: как биографии пишутся? Ожидал там панегирик-житие встретить, а оказалось такое человечески-со-страдательное рассказывание — о земляке-флорентинце, кто был податлив страстям — и блуда, и честолубия, и суматошен — и совсем не чтит так свой гений и труд: писал Поэму с перерывами — в годы, забрасывал, и с трудом по смерти нашли последние 13 песен — в нише, в стене, его сыновья: Якопо и... И совсем не верен был в величии своего замысла. А как Бокаччо толкует: решил отомстить врагам и отблагодарить друзей в его жизни — домашне так раздать по серьгам — отметки поставить. А не прерогативу Божьего суда принять, как нам уже через века видится...

Написав 7 песен «Ада», послал на суд поэту-критику... — и тот его уговорил продолжать, сам же был не уверен в ценности затеянного...

Узнал, как его профанные родители после смерти Беатриче: чтоб не горевал так влюбленный, женили, в его 21 год — и прижил детей, но не был семьянин, а вдался в политиканство — в магистрате Флоренции, был посылаем, изгоняем, разных женщин имел — и что это простительно — как в рас-суждении о Браке тут же толкует Бокаччо: что поэт и ученый стремится к уединению, а заботы семьянина мешают.

И умер 57 лет, совсем не примерно прожив. Лишь под конец в Равенне сосредоточился на писании... Так что и Данте выходит — как и Моцарт: «не-достоин сам себя!» — не уважая свой гений, жил... А нам-то его образ как видится! Чеканным и в лавровом венке — АЛИГЬЕРИ! Божественным — Бо-гоДАННЫМ — ДАНТЕ! <...>

То есть ДВА ВИДА в каждом существе: его Идея и его Эмпирия — те «ДВОЕ» сковородинины: Григорий Сковорода все взвиздывал через принцип «ДВОЕ»: как образ-метафору... двоебытие в каждой вещи, два плана-уровня существования: на уровне идей и в миру-материи...

Так ведь и ты предпринимаешь жизнеописание: не чтоб просто факты вспомнить, но чтобы возвращение смысла жизни проследить — через фазы складывания души-характера — и ума-понимания...

Позвонил Генке Московскому = другу раннего детства. «Ты — живой?»

13.8.2003. <...> Вспомнил, думая, куда, к кому б податься грусть-тоску развеять, о Генке Московском, первом друге раннего детства моего! И как раз «Жизнеописание» затеял, а он — сопутник первого такта в нем — в доме «Моссельпрома», на Калашном переулке на Арбате!..

Но — жив ли?.. Боюсь звонить. Ибо когда позвонил несколько лет назад — года три, — жена сказала: его в больницу забрали, намекнув на «рак» или что... — и я уж боялся звонить, наткнуться на недоуменную паузу: «А Вы не знаете?.. Он... Его уже нет...»

Но так подмыло вчера — в 5 веч., солнышко: вечер свободный, летом в городе — дай позвоню: вдруг? Но — не умею звонить с нынешних автоматов в метро — тоже черта человека старого времени: неприиспособленность к новому миру вокруг!.. Но и оглоушить его — и себя (если нет его) — током из сего дома — тебе Жизни или Смерти? (ведь с ним: начало Жизни — и вот уже конец?) — нет: кощунственно будет так!.. Лучше приеду домой и вечером спокойно позвоню — чтобы не на ходу, а и поговорить бы можно...

И вот придя, скинув городской одежды мундир до трусов налегке, подошел к телефону, с трепетом набрав номер, ожидая голос жены, и вдруг — ОН! Хриповатый, родно-знакомый: «Слушаю!»

— Геннадий Сергеич? — «Да» — «А это — угадай, кто?» — Пауза. Я в облегчение еще подаю голос: «Ну же, вспомни...» Еще пауза...

— Это не Генка ли Гачев?

— Он самый!..

— Ты — живой?!!

— И ты — живой?!!

— Вот это да!.. — хмыкает.

— Тебе ведь 75 в этом ноябре — 27-го? А мне через полгода!

— Нет, в этом ноябре мне — уж 76.

Клокочет под сердцем радость: жив он = я жив!..

— Давно собирался тебе позвонить, а сегодня — как стих нашел: так захотелось встретиться! Ты как: в городе или на даче?..

— Ты удачно позвонил: с пятницы я уезжаю на участок садовый — за 90 км. Я ведь еще и работаю — до 6 часов.

— Так что если бы я в 5 позвонил — не застал бы?..

— Да... Ну раз на тебя «стих нашел» — давай не откладывать — и завтра в 6.

— Прекрасно! А Регина где?

— Она на даче, ей 74. А у меня и внук — 19 лет, только женился...

— А у меня — внучка 8 лет, девки мои не размножаются...

И вот предвкушаю — вечер сегодня — с архидругом! Именно — с АРХЭ-другом: первоначала моего! Метафизическая встреча! <...>

Встреча с Генкой Московским = Две кометы обнюхались и далее разлетелись

14.8. 2003. Вся жизнь — из Труда! Вон звучит великолепно музыка XVIII века — слаженный ансамбль. Но чтоб она состоялась, люди должны были одолеть лень и уныние, встать, одеться, в любую погоду побежать к сроку в зал — и т.д. Работа — подьемлет и дисциплинирует, помогает одолеть земное притяжение — безразличия энтропии, что волочит к рассеянию и Смерти.

Каждый птенчик и человек — на свой лад трепыхается: кто подлез под автомашину, кто роет картошку, младенец с кошечкой на коленях глазает сказку по телеку...

Вот я сажусь тюкать — и выговаривать словами замечаемое и продуманное... А это — тоже дар и труд. Вон по радио в передаче воспоминаний о каком-то человеке или событии интервьюируемый много рассказывает интересного и выразил сожаление, что не было в нем тяги в слова облекать, записывать — дара такого. А жаль...

Так что и ты не стыдись своего вословеснивания микроопытов и уразумений сего мига и дня.

Вон вчера — тоже с таким трепыхунчиком-кротом жизни — с Генкой Московским метафизическую встречу имел. Открыл дверь — приземистый, крепенький мужичок с щетинкой серенького бобрика на голове. Ощупали друг дружку. Обнялись. Он: «Что это ты не седой?.. И что худой такой?..»

Мне же приятно было упругость корпуса его осязать. На маленького Собакевича похож, вперевалку задвигался, на кухне ставя снесь.

— Я хозяйства сейчас не веду: вот водочка, колбаса, шпроты...

— Что ты! По-студенчески — что нам надо?

Заголовок сочинял — и образ двух метеоритов или комет, что раз в кои-то веки пересекаются в просторах мирового пространства — рассказывают о пройденных путях — и разлетаются — не на век ли?..

Так что даря ему, уходя, «Семейную комедию», надписал:

«Дорогому другу раннего детства — Гене Московскому, от Генки Гачева — в память о встрече на рубеже 75 лет: я — чуть до, ты — чуть после... И дай Бог... (тут напрашивалась формула стандартного тоста: “Дай Бог — не последняя!” — но покорило — возможной буквальностью пророчества и осадил себя и написал...) — / — продолжим!..» Сказал ему про эту опаску и замену, и он согласился.

Тут я, кто «ради красного словца не пожалеет отца» — подчинил красоту словца — страху-трепету реальной жизни: не наклепать!.. Как бы раз-

бомбардировал молекулу сомкнутого выражения — и дал разлететься атомам-словцам... Все ж слова и даже уровень Слова-Логоса — игры, игрушки — литература, всякая эстетика. А тут — не до жиру словца, «А дышит почва и судьба» (Пастернак).

Да, перерывы между нашими встречами — 10, а то и 15 лет. Наскоро рассказали о себе. Он — крепыш, тягловая лошадка жизни, ПРОРАБ. То есть не начальник, а среднее звено — мастер цеха, но добротен и надежен... Вон друг его ближайший — Игорь Заседателей — карьеру сделал, доктор, директор Института — и кишка тонка оказалась, нервен — и инфаркт у двери дома своего с цветами к дню рождения жене Наташе — 62 лет... Генка же прагматично себя изначально оценил: что ему звезд не хватать (не как я — с амбициями тоже...) — и так житейски мудро корабль свой в жизни вел. Правда, и у него была промашка — лет в 30: став небольшим начальничком, соблазнился какие-то материалы продать — и попал под суд — 4 года лесоповал в Вятлаге. Но и там его оценили — стал прораб-инженер... А вернувшись, уже доволен малым: жена, дочь, автомашина, квартира, садовый участок, верная подруга-любовница Валентина — 30 лет уже — вместе с ним в конторе сантехники — и не претендует уволочь его от жены. Сейчас в каком-то учреждении сантехникой и инфраструктурой ведает, внуку купил автомашину к свадьбе — в 22 года. Из болезней — были желудочные язвы, но когда бросил курить в 45 лет — все прошло. Ну — стенокардия — «грудная жаба», аденома, малый рак простаты — но ничего!.. Водит машину, сам обустроил дачу — там сейчас жена — Регина, ездит на выходные.

Спросил его: а не было ли охоты за границу спутешествовать?

— Нет. По стране хорошо поездил. На машине все оборудовал: и спать, и палатка, и кухня, и даже умывальник. Умелец! И дочь его МАРИНА 42 лет, дважды замужем, и сын ее Сергей 22 лет, — тоже утверждают тут. Вертикальны!

Он — полукровка, как и Я: мать, Анна Марковна — еврейка, умерла 52, отец — Сергей Емельянович — русский инженер, красавец и бонвиван. Старший брат Гены — Юрий — непутевый, где-то протрепал жизнь, но дожил до 80...

Г. — хороший друг: с Института у них компания друзей — всю жизнь — вот уже за 50 — семьями дружили и помогали... И вот уже хоронил нескольких. И это — СМЕРТЬ — главное метафизическое переживание:

— Когда у тебя на руках умирает человека: вот дышал — и нет! — как это человечество за тысячи лет не смогло ОРГАНИЗОВАТЬ СМЕРТЬ?.. Но — это потом: на следующий раз — уже поздно было...

— Нет, как это ты интересно сказал: «организовать смерть»? Моя жена как раз над этим бьется... А ты — с христианством как?

— Ну, никак. Вон внук — венчался, но стоял я и не понимал: зачем пышность, слова непонятные? Я думаю: большинство, кто ходят в церковь, не понимают...

— А ты почитай — Евангелия!..

И стал ему парадоксальную мудрость притч рассказывать: как это «возлюби врага» — на примере моего отношения к Разумному¹, зоилу моему. А понял: он — мой благодетель: вывел на мой свободный жанр!

— Жаль, что мы под конец об этом заговорили...

Сегодня по радио про духовных детей отца Валентина Амфитеатрова слушал — там Грабарь-Пассек и др. И снова — ВЕРА, гений ее, сильной и безапелляционной. Осиливает Зло и Смерть.

Но ведь и такой человек жизни, как Гена, кто живет здраво, тянет род-семью, детей, создает квартиру, дачу, машину, «мещанин» — праведно живет и осмыслен Бытием его путь, субстанциален. Ткань Бытия ткет-выплывает...

Разница — в видах одоления Смерти: через Веру в личное воскрешение или через дление Жизни Рода Людского...

Раннее детство в Доме Моссельпрома на Арбате

Ну и предались воспоминаниям раннего детства.

Мы жили в большой коммунальной квартире на 7-м верхнем этаже в доме-башне «Моссельпрома» на Калашном пер. № 4 (кажется), что выходил на Арбатскую площадь. Мы, два малыша, играли вместе. И имя-то мое — от него перепало. Он-то честно Геннадий, я же — Георгий! Но в русском языке нет маленького имени для Георгия. «Жора» — отвратительно буржуазно и нэпмански — для моих родителей, «Юра» — не то: для «Юрий», «Гора», «Гера» —

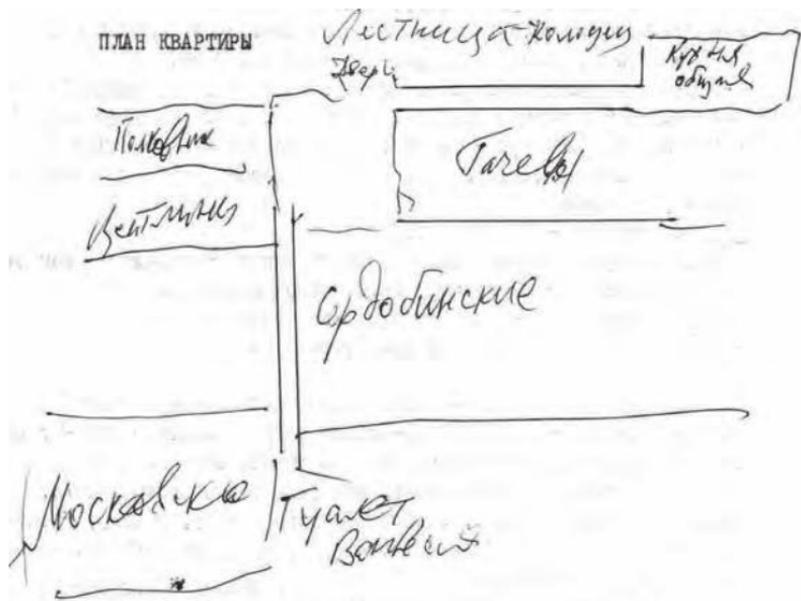
все не то. А «Гоша» — как естественно в Болгарии, тут не звучало... Так что само собой от Генки Московского отпочковался в квартире многосемейной — Генка Гачев...

А родился я в роддоме Грауэрмана на Арбате — известном, в нем, оказывается, и Кожинов Вадим...



Георгий Гачев. 6 месяцев. 1929. *Архив семьи Гачевых*

¹ Владимир Александрович Разумный (1924–2011) — философ, эстетик, педагог. Разгромная статья В.А. Разумного, направленная против книги Г.Д. Гачева «Содержательность художественных форм» (М., 1968) и фактически закрывшая ему дальнейший выход в печать, способствовала внутреннему повороту мыслителя к неангажированному писанию «в стол».



План коммунальной квартиры, в которой жила семья Гачевых. Рис. Г.Д. Гачева

Наша комната выходила в колодец двора — и у нас всегда темно. А у Московских — просторная и на юг, солнечно и светло, приветливо — и там мы играли. У нас же в длинной узковатой комнате половину занимал черный рояль. Г. вспомнил, как мы забивались под него, занавешивали, устраивали себе домик укромный, клали черный хлеб и лук на полочки внизу — и пировали... детушки...

А у Московских играли так: вдоль стен стоял большой письменный стол, затем к окну — диван и упирался в батарею парового отопления. И вот мы разгонялись по полю письменного стола, прыгали на диван и на пол. И вот раз я разогнался сильно, прыгнул на диван, а тот спружинил — и вынес меня головой на бата-



Гена Гачев. Начало 1930-х гг.
Архив семьи Гачевых

рею и прямо лбом — и рассек — в кровь и слезы. Потом зашивали — и с тех пор у меня шрам посреди лба. Особая отметина... Приглядывался вчера Г... — но уже след простыл. А полжизни его носил...

Весной выскакивали на тротуар с солнечной стороны и там мелкими чертили квадратики и играли-прыгали в классики. И — самокаты самодельные на подшипниках — была радость.

С другой стороны на Арбатскую площадь выходит Гоголевский бульвар — и туда гулять ходили — и там фонари на львах бронзовых, и жопка моя помнит, как соскальзывать было приятно — с гривы по туловищу и хвосту. Есть снимок отца со мной — на Гоголевском бульваре.

Еще ходили в Александровский сад — и там зимой нашел замерзшего воробушка — и похоронил прямо под Кремлевской стеной.

Недолго ходил в детский сад на другой стороне Калашного переулка. Помню — осень, опавшие кленовые листья золотые и сережки. А кормили там — манная каша с черным хлебом — регулярное блюдо на завтрак...

Недалеко — в 6 минутах — Консерватория. И туда лет с 4–5 ходил на ритмику — в группу...

Однажды в квартире охотились на крыс — высокие мужики Сердобинские — в общей кухне молотили и врезалось мне кровавое месиво из крупных, черных — с пастью...

А отец меня сводил — в метро — мрамор красный и в кино — «Художественный». Еще помню высоченный дом в Гнездниковском пер. — там на крыше 10 этажа — вид сверху на Москву — там друзья отца и мамы, музыковеды где-то собирались: Либединский и Ко...

И в мастерскую скульптора Валева — болгарина, на Трубной — внизу какие-то темные проходы — и много глины и начатые статуи.

Сновидение жизни. Дом Моссельпрома (продолжение)

15.8.2003 <...> Итак, продолжим погружаться в сновидение жизни... — протекающей. Ибо это уже — не реальность, не день действительности, как сейчас, но воспоминание: чудесный склад-толща *Памяти*, что нам дар от Бытия в устроение нашего существования — как амбар в хозяйстве — ойкономии — преподарена...

И вот ныряю — за жемчужинами-крупницами, звездочками, что из марева вод океана на дне начинают проблескивать — в глубоководии...

Периоды-полосы: «культурные слои» в археологии и раскопках Памяти — по местам жительства, квартирам — группируются.

1929–1934 (5?) — Дом Моссельпрома на Арбате. О нем — смутно. Еще вспоминаю, как с балкона у Московских — солнечного — без перил! — лежа, сбрасывали бумажки и мелочь всякую — и Г. вспомнил, что пришел милиционер — возмутился, что на головы проходим что-то падает!

Спросил Г. про моего отца: мощная шевелюра и крепышом ему помнится. Его же отец в моей памяти — щеголь, наверное, любимец женщин — и странно, что такая староватая и поношенная Анна Марковна — но невероятно добрая и ласковая: привечала меня и мама на нее меня спихивала на день, — его жена. У них часто гости, танцы — дамы под граммофон. Публика из людей жизни — не то что у нас — люди искусства, аскетично все — музыка на рояле: что мама играла, — и разговоры...



Димитр Гачев, Мирра Брук и их сын Георгий Гачев с друзьями семьи Миррой Нахимовской и Георгием Караджовым. Москва, 1933. *Архив семьи Гачевых*

Но вообще жизнь родителей проходила вне квартиры, а я с нянями скучно в дому... Или подкидывали меня — к подруге мамы — Миме Нахимовской и ее мужу Шишкину (философ) — в старинную квартиру на Афанасьевском (кажется) переулке недалеко от Арбата. Помню, как там на диване отец лежал — с *мигренью* (часто это слово звучало у нас). Мебель старинная и шторы — высокие окна и вид на двор узкий.

Верно, вселили этих новых интеллигентов (Мима из Минска, подруга мамы еще там, еврейка, биолог тут; Шишкин — марксист-философ, с рабфака) в квартиру дворян или профессоров, изгнанных в эмиграцию. Все дышало прочным бытом, традицией — основательной жизнью прошлой России. Какой контраст — с голыми стенами нашей комнаты, куда по-студенчески

вселились два студента консерватории и где, как мама рассказывала, гостью Георгию Караджову, другу отца из Болгарии — политэмигранту, выкладывали на ночлег ложе из ящиков... Не жилье, а временка... И таковы, в сущности, они и были — эти новые пришельцы, номады-кочевники: из черты оседлости — мама, с Балкан социалист — отец, привлеченные в освободившееся Эльдorado, пустошь пореволюционной России, которую они воспринимали за землю обетованную, где построить коммунизм и социалистическую культуру. И были вдохновенные апостолы и созидатели сего... Романтики... Идеалисты — «материалистами» себя именовавшие.

На ул. Горького в Общежитии ИПК — 1935 г.

В начале 30-х гг. отец поступил в Институт красной профессуры — питомник советской интеллигенции — писал там диссертацию «Эстетические взгляды Дидро» — и ему выделили для работы комнату с прихожей — в сущности однокомнатную квартирку в доме гостиничного типа в пятиэтажке длинной-коридорной — напротив Телеграфа в глубине ул. Горького, во дворе. Дом и сейчас стоит: между Телеграфом и Домом композиторов. И мы переселились туда — все ж свое гнездо!.. Помню длиннющий коридор на 5-м этаже, куда выходили эти стандартные номера. Бегай, катайся на самокате или детском велосипеде от общей лестницы до общей кухни, ванной и уборной. Не помню, был ли у меня детский велосипед — кажется, не было, а я мечтал, но все ж катался — наверное, у соседских мальчиков был... Коридор полутемный, в тусклом свете лампочек — унылость навевал: голость обшарпанных стен серых. Но когда из коридора ныряешь за дверь — сразу уют, тепло, как в свой домик, где сразу и плита и еда... Или нет? Ведь огромная общая кухня была на конце коридора.

Помню, как купали меня в ржавой ванной, и я пускал «кораблики» — из узких жестяных коробочек из-под «ликодермина». Очень звучность этого слова-надписи запомнилась-пронзила колдовской мистерией-стечением согласных и гласных — и я любил возглашать это слово — прямо торжественно, в высоком штиле, как любил в отрочестве Державина и Маяковского произносить: ЛИКОДЕРМИН! Нездешнее слово, иностранное, непонятное — а внятное прямо мембране души, ритмике организма-существа!..

С этого слова, может, вкус к поэзии и декламации во мне прорезался.

Зимой — костры на асфальте перед зданием Центр<ального> Телеграфа, где растапливали снег — грязный, серый — и клешни снегочерпалок, вонзающиеся в кучи.

Помню поход с отцом в Елисейевский магазин — ослепительный свет и роскошь там. Откуда шоколадную бомбу в бантике мне в подарок покупали.

Еще — Сандуновские (или Центральные?) бани — тоже поход с отцом. Потрясение бассейна! Это тебе не ржавая ванна!

Через несколько дверей от нашего «апартаментов» была такая же «квартирка» Дмитрия Ивановича Великородного — ближайшего друга отца: в Институте красной профессуры два Дмитрия Ивановича были неразлучны, как Кастор и Поллукс... Вот и комнатки им дали рядом. Я любил толкаться в их дверь и заходить в гости. Они были красивая пара — он и Тамара Залеская — пышная, ширококостая, чуть приземистая — казачка или украинка, в цветастом платье. Излучение Женственности — нет, женскости, Роскошь Фемины — ошеломительно — веяло от нее...

А он?.. Когда я позднее читал «Герой нашего времени», Печорина я представлял в его облике.

Исполнение музыкальной пьесы = соитие божеств

...Слушаю передачу «Две Марии» — Юдина и Гринберг — пианистки. Божественное исполнение каждой... Да это же — Любовный акт — исполнение сонаты или экспромта. Как Клеопатра или Тамара — «всеми язвами лобзаний» — упою! Всем гением Вселенской Женскости! Как обнимают звук, мелодию, тембр, темп! «Ценою жизни — ночь одну! = прослушать такое исполнение — и умереть! И эти великие ЖЕНЫ — обделенные в супругах — священнодействовали не в постели, а на эстраде, за роялем, над телом — Шуберта, с фугой Баха совокуплялись... Открывая такие изгибы тела и трепетания...

Кстати, Мария Гринберг — играла у нас в доме — и потом на вечере в память отца. А у Юдиной я читал «60 дней» — неудачно. Но об этом — потом.

...Св.¹ зовет в холл — смотреть новости по ТВ. Но — отвращаюсь: через музыку удерживаю себя в пространстве детства — в атмосфере тогдашнего дома — родительского — мне.

Дмитрий Великородный = отец Н.Д. Солженицыной

Хотя нет: Печорин — утончен и ядовит, а этот — казак с Дона — широкая русская душа. И голова и лоб большие и поверх копна разлетающихся волос. И — златоуст, краснойбай! Представляю, как неотразим был для женщин...

Вот и в нашем коридоре произошел роман (уже после нашего оттуда отъезда). В 1937 г. там поселилась юная дочь репрессированного отца — редактора «Известий» (кажется — Светлов его псевдоним) Екатерина Фердинандовна... И возгорелась любовь: Великородный утешил юницу-сироту — и в итоге зачалась та самая прелестная Наталья Дмитриевна, кто спустя стала женой А.И. Солженицына...

Д.И. Великородный был ярко талантливый русский человек: в разговоре блестяще развивал мысли, но — неорганизованность, ленца писать. Затеяли они с отцом книгу совместную о Ромэне Роллане — см. об этом в письмах Д.И. Гачева с Колымы... Но отец написал немало, имел Эрос к писанию (как

¹ Семенова Светлана Григорьевна (1941–2014) — вторая жена Георгия Гачева, литературовед, философ, исследователь и публикатор наследия Н.Ф. Федорова.

потом и я): два тома собрал я — и то до 36 лет, когда был арестован в 1938. Великородный же расплескал свой талант — в беседах, в воздух. Как вспоминает его жена Тамара Залеская: «Дима Гачев вставал рано. А Дима Великородный любил полежать. Вместе уходили мы в библиотеку. Гачев много страдал от мигрени. Иногда приходилось ему отдыхать у нас — дома у себя ему было нельзя — дитя мешало (это я. — Г. Г.). Засыпал тут, в кресле-качалке». Еще детали различия двух Д.И.: «Дима Гачев... не любил ни вино, ни водку. А Дима В., напротив, попивал в компании. Звали и Гачева, но он, придя, торопился уйти. Вообще много работал».

Это записал я, когда в 80-е гг. собирал воспоминания об отце. Вот еще и рассказ Веры Бельшай, юриста, кто тоже в 1935 г. получила от ИКП комнатку в том же коридоре. «Было лето 1935-го года, и я только что родила свою дочку... Пеленки кипятила в большой кастрюле в умывальнике. Поднимала и таскала сама тяжелую кастрюлю с водой и пеленками. Гачев мылся в том же умывальнике. Заметил он, что поднимаю кастрюлю, и начинал следить за мной: “Вы постучите, позовите меня...” и не только со мной был таким. Все его любили в нашей большой кухне. В коридоре было 32 комнаты. Любили его соседи, любили и дети. Он находил тему для разговора со всяким шалуном, который бежит, открывает двери...»¹. Я тоже так бежал с ребятами и баловался, открывая двери в чужие комнаты.

Я любил заходить в гости к Великородным — у них уютно, много книг, я разглядывал под настольной лампой картинки, в кресле-качалке качался. Золотоволосая Тамара угощала — и, смеясь, вспомнила, как я приходил в гости и говорил: «Дураки, дайте чаю!»

Д.И. Великородный, когда началась война, пошел добровольцем в Московское ополчение — и погиб в 1941 году.

Летом на даче Музгиза на ст. Удельная в середине 30-х гг.

Радужные воспоминания — о нескольких годах на этой станции Рязанской-Казанской ж.д. в 30 км от Москвы. Мама тогда работала редактором в Музыкальном государственном издательстве на Неглинной 14 — и сейчас там «Ноты почтой»... Старинные лестницы с металлическими ступенями, широкие, перила, длинные, темные коридоры и темноватые комнатки — бывал там у мамы. Но замечательно приветливый народ и дружный коллектив, в основном из евреев-музыкантов молодых. На лето снимали дачу трехэтажную из многих маленьких комнаток с террасками и мансард — в Удельной, и там по очереди жили сотрудники с детьми: все лето или часть. У нас с мамой помню мансарду на 2 или 3 этаже. Дача — в редковатом сосновом лесу, но волейбольная площадка — там играли дяди. Помню: Окунь и его жена Рахиль Израилевна — ласково меня опекала, у них сын старше меня — погиб в войну. Легендарный

¹ *Димитър Гачев*. Избрани произведения. Т. II. София, 1989. С. 578, 583 (примеч. Г.Д. Гачева).

«красный партизан» Александр Лифшиц на скрипучем протезе — политредактор. И у него сын погиб потом.

А тогда мы все играли. Еще Виноградов с дочерью Светланой (потом стала популярная ведущая по радио: о музыке беседы) и сын моих лет Феликс — бабочек ловил и жучков — потом биолог стал. Мама как-то вспомнила, что я — нехороший мальчик — высыпал жучков из его спичечной коробки (или другой), и тот плакал.

Главное удовольствие там было — ходить купаться на Быковский пруд, где острова и полуострова выделаны и лодки напрокат сдают. А возле пруда — зеленые луга — в цветах, где мы с сачками бегали и ловили белых и желтых и цветных бабочек, пятнисто-коричневых — «махаон» и проч. А и цветы собирали, на ромашках гадали... — хотя нет: это попозже. А дорога от дачи на пруд — чрез сосновый лес, где корни проступали, а если на велосипеде — подпрыгивало седло, как на волнах...



Георгий Гачев. Первая половина 1930-х годов. Архив семьи Гачевых

Еще там в Музгизе редактор по инструментовке был Мальтер (потом, в 1956 г. в семинаре самодеятельных композиторов при Союзе композиторов, я у него проходил инструментовку), на японца похожий... Мама, кто даром изображать коллег обладала, — под общий хохот изображала жесты и интонации — и я помню фразу: «А я з товарищем Мальтером — не зугласен!» Директор — Гринберг, маленький и умный и доброжелательный. Гачев и Гринберг зачали в Музгизе издание музыкально-исторических работ Романа Роллана — и первый том вышел под редакцией Д. Гачева и Б. Левика в 1938 г., у нас есть сигнал, но в тираже фамилия Гачева вычеркнута, его арестовали в феврале 1938 г. И все же в этом году издали монографию мамы: Мирра Брук. Бизе. М.: Музгиз, 1938.

Мимо ст. Удельная проезжали поезда на Кавказ — и помню, как я вышел помахать пале, когда он проезжал в горы — летом 1935 или 36 г. — и он выскочил из окна и махал мне.

Еще вывозили и в другие места на дачу, но те смутно помню... Что-то сухое и голое и типа поселка, а не дачи... Там жил с очередной няней... Так как

мама и папа заняты культурой, то я был на домработницах, кого в те годы легко из деревенских разоренных набирали в городах. Смутно помню «Мамотю» (так я звал Мотю — Матрену, наверное), потом «Галю — товарищ пучко» (пучком косу укладывала) — это уж попозже, школьником. Во 2–3 классе я вдруг был пронзен: что мясо и колбасу делают, убивая животных, — и перестал есть мясо и котлеты, а если в классе кто доставал бутерброд с колбасой, я шипел: «У, живодер!» Мама рассказывала, что это длилось долго, и они, обеспокоенные, стали обманывать меня — и Галя подсовывала мне мясные котлеты, говоря: «Ешь! Это крупяные!» Потом Мама запугала и меня: «У тебя будет *размягчение костей*» — и я, скрепя сердце, согласился есть мясное...

Еще из летнего — посещение дачи Василия Петровича Коларова — на ст. Челюскинская — в светлый день, на Клязьме. Аллеи в цветах, и он рисует. Один из вождей Болгарской компартии, он благоволил к отцу. Мы бывали у него в квартире в Доме на Набережной. У меня книга «Герои и мученики науки» с его надписью: «Моему молодому другу...»

А когда в СССР приехал с Лейпцигского процесса его герой — Георгий Димитров, меня захватил отец на встречу с ним — в Колонном зале (кажется) — там вся «диаспора» болгарская в СССР собралась — и как их много, похожих на отца, смуглых и гортанных — твердо согласные произносящих!.. И как Димитров, стройный и с львиной гривой, — вылетел на сцену — орел!..

Не могу вспомнить переживаний: «я» еще не возникло

16.8.2003. Впервые за многие годы — писал вчера целый день — до 10 вечера. А то обычно: часа два-три с утра жизненным, умозрью — и выдыхаюсь — и уже пороху нет писать...

Ну понятно: тут произвожу из себя, тку нить, а при воспоминании — ВОС-произвожу — на готовенькое, что лишь выкапывать — урожай жизни. И интерес тянет: воспоминание к воспоминанию пристраивается. Тема-сюжет засасывают — от отсутствия чего страдал последние годы: чтоб крупная тема-исследование, как проснешься, — волокно к столу, а не как в пассиве ожидать: что Бог пошлет и на душу положит — продумать-записать в сие утро.

...Гоша! Пошли погуляем, — младенец!¹ — А то мыслей нет у тебя, а тогда появятся!

А гуляние наше — оседлать деда лошадкой через скакалку-прыгалку — «Но!» — и бегаем вместе.

— Ну хватит про меня! — читает рядом. — Пошли!

10.45. «Ой, как хорошо!» — было выйти в солнечный лесок наш и бегать впряженной лошадкой по аллеям, вдыхая хвою и листву, расширяя грудь.

В аллее навстречу Мать и Дочь² — философини идут, обсуживая что-то — из федоровщины своей, верно.

¹ Щербакова Вера Андреевна (р. 1995), внучка Георгия Гачева, дочь А.Г. Гачевой.

² Семенова С.Г. и Гачева А.Г.

— Флоренский и Булгаков идут — с картины Нестерова «Философы!» — бросаю им восхищенно-иронично.

Младенец завел меня на полянку, где я молитву «Отче наш» и проч. под деревьями гимнастически творю, сам отошел в малинку— и, глядя на его красненькое в зеленом тельце, подумал:

— А ведь к его возрасту я в воспоминании приближаюсь — к 8. И мог бы отождествить — и посравнить и понять?.. Но — не могу: совсем не чувствую внутреннего себя тогда, а лишь внешние места и впечатления чувственные находят от тех времен-опытов. А ведь у Веры нашей — какая сложная и тонкая палитра переживаний уже, из отношений к маме, папе, деду, бабе, сверстницам в саду и уж в школе! А в себе я ничего подобного не расслышиваю — из себя тогдашнего, а как чурка-тело детское я до — школы почти — с малыши прорезями чувств... Так что в первые годы жизни — я, человек, — болванка, обтесываемая снаружи, объект воздействий. А самость и субъект и «я», самосознание пробудятся позднее. Упругость нутра...

В квартире 58 в доме 16-А по Выставочному переулку — с 1936 г.

Все ж отец не дремал, а искал возможность «улучшить жилищные условия» и для работы, и семье уж для заботы, а он и заботлив, и как болгарин, для кого своя «къща»¹, — первое дело... И вот по линии Коминтерна, как политэмигрант, вступил в жилищный кооператив (один из первых тогда) «Вельтоктобер» = «Мировой Октябрь» — и в 1936 г. весной иль летом, мы переехали в только что построенный 5-этажный дом в прекрасном месте: между Донской и Большой Калужской улицами в переулке, что раньше был «Ризоположенский» (по церкви Ризоположения — чудный храм XVII–XVIII века), а был переименован в «Выставочный», потому что вливался в Парк культуры и отдыха им. Горького, где была устроена выставка достижений СССР — какая-то, ранее... Сейчас это — ул. Академика Петровского.

Дом длинный, в 6-м подъезде (последнем) на 4 этаже (без лифтов дом. Кстати, дом Моссельпрома с высоченными этажами — тоже без лифта — на 7 этаж долго добираться, и по углам этажей врезаны треугольные скамейки для передыха, которые в Войну на дрова спилили, как вспомнил Гена Московский...) — 4-х-комнатная квартира, в которой нам выделили 3 комнаты: 2 смежные, одна отдельна. В 4-й, а точнее в первой, ибо лучшая и большая и светлая — на Восток и юг окнами, поселены американские коммунисты: Ласкер Исидор Борисович и Бродская Ревекка Ильинична — евреи, естественно, бездетны, оба полные и добродушные. Он переводил сочинения Маркса и Ленина на англ<ийский> яз<ык> и проч. ценные идеологические документы и был почитаем и оплачиваем. Их не тронули в 1938 г., когда как ураган прошел по всем квартирам, выхватывая мужей как деревья — и выметнул кого в лагерь, кого прямо на тот свет...

¹ Дом (болг.).



Дом в Выставочном переулке, д. 16-А. Здесь с 1936 г. жила семья Гачевых

Но это потом, а пока — новоселы радовались жизни. Народ был молодой — лет 30–40 в среднем, с детьми моего возраста, политэмигранты-интеллигенты отовсюду: из Германии, Венгрии, Эстонии, латыши, поляки, четыре семьи болгар... По коммунистической коллективистической закваске сообща и дружно-весело на субботниках убирали двор, заливали каток — и уж мы катались с отцом: у него желтые ботинки иностранные над гагами.

Друзья моего детства: Спартак (венгр), Миша Шмюкле (немец), Гриша косяглазый, сын Греты (потом давала мне уроки немецкого), Липа Абрамович, Мокка Бойкикева (болгарка) и др. Двор был большой, мы играли в лапту (казаки-разбойники), в «ножички», «фантики»...

Дом «иностранцев специалистов» — так иначе именовался наш, — своим продолговатым корпусом врезался в рабочую слободу: с обеих сторон — одноэтажные и двухэтажные деревянные дома и бараки, и еще огороды и остатки садов — и там, естественно, ребята другого класса и нации — русские, рабочие, «хулиганистые» — дрались, двор на двор, они осиливали — и я заполучил страх драться — и всю жизнь потом боялся драться, не умел и избегал.

Мы — «чистенькие», «отличники», а те — двоечники, одеты серенько. Зато — дружны и смелы, а «наши» и одеты в каких-то гольфах да заграничных шмутках — в остатках от отцов...

Так вот первое социально-классовое переживание у меня — некоей «нездешности», что ты «не наш», отлучен от народной субстанции, стиля жизни... И отсюда — всю жизнь обратный импульс: стать таким, как все, войти в коллектив, в русскость, добыть русскую бабу...

Кстати, параллельно длинному параллелепипеду нашего дома на Большой Калужской ул. был выстроен дом № 13 — от Академии наук, где уже самая элита вселялась — «академики»! — и дети их. Эти уже «почище» нас. Но все сообщались — в общей школе № 16 и др.

Так что этот кусок пространства между <Большой> Калужской и Донской трехслойный пирог Социума советского представлял... Народ рабочий русский, космополитическая интеллигенция коминтерновцев, обреченная на исчезновение, — и аристократия-технократия ученых.

Но в нашем доме мы самодостаточно жили и дружили: ходили в гости, дни рождения справляли, ребята соперничали в играх и перед девочками с косичками. Тут первые намеки на влюбленности... У меня — к отличнице Инне Аксельрод, в квартире напротив, но сильнее — к белокурой Хильде, стройной и старше, дочери австриячки и болгарина, дипломата Петера Нешева (кажется), в квартире под нами. Но это — годы позже.

Болгарская бабушка

В новую квартиру к нам вскоре приехала — весной 1936 г. Баба Мария¹, мать отца — и жила у нас два почти года — и присутствовала при аресте сына — младшего — она, потерявшая уже старшего — Георгия², убитого 30-летним — в 1925 г. в Софии все в том же коммунистическом движении. Она была кроткая женщина, из крестьянской семьи в Цариброде в Македонии. 16 лет вышла замуж за Ивана Гачева — ставшего учителем, а потом и директором гимназии в Брацигове, маленьком городке у подножия Родоп, и родила двух дочерей и двух сыновей. Сама же вела хозяйство, работала в поле — и как бы стеснялась своих получивших высшее образование детей...

Мы с бабушкой естественно стали любить друг друга. Она — дома, близка и свойска, тогда как мама и папа все далеко, вне дома, в своих делах. Я посмеивался над «неграмотностью» бабушки: так странно русские слова произносила и перемежала с болгарскими, но не обижалась она, а улыбалась и звала меня «ГенУшка, златен син на бабУшка» («золотой сын»). Она готовила странные яства — с перцем, «люти чушки» — острый перец, а сладкий — на-

¹ Мария Ивановна Гачева (1876–1957), мать Д.И. Гачева. Весной 1936 г. приехала в гости к семье сына. После его ареста вернулась в Болгарию.

² Георгий Иванович Гачев (1895–1925), старший брат Д.И. Гачева, юрист, офицер, деятель Болгарской компартии, руководитель Софийского военного округа в Сентябрьском восстании 1923 г. Был убит.



Георгий Гачев с родителями Димитром Гачевым и Миррой Брук и болгарской бабушкой Марией. Москва. 1936. *Архив семьи Гачевых*

полняла рисом с мясом, голубцы-«сърми» — словом, болгарскую кухню пыталась тут чуть ввести, варила варенье (отец любил, и мама вспоминала, как говорил он: «Не пью, не курю, люблю варенье!» и рассказывал, как варят в Болгарии: «Берут сливы — не такие дурацкие сливы, как здесь, а — СЛИВЫ! — и варят, и варят, и варят!...»).

Она так никогда не сидела, а в руках — спицы — и вязала: то свитер, то чулок, то нарезала тряпки — и плела «черги», дорожки ковровые, что на полу, и подушки на кроватях. В 36-м ей и 60-ти не было. Но мне видится ее кроткое старушечье смугловатое лицо в морщинах, черные волосы в пучке — и глаза, прозрачно-светлые, голубовато-синеватые, «гачевские» — как и у отца, и у меня: черноволосы и светлоглазы... Передо мной ее глаза сейчас — как небесные, очи Души, столько страдавшей (похоронила и мужа, и сына) и кроткой — и с влагой сострадания вечного к человекам. У Богоматери такие глаза должны быть, у молчальницы... Так и баба Мария — все деланием рук и глазами выражала. И одета в черном, как старые болгарские матери — в прибалканских городках. И стиль и жанр такой в народной поэзии — «старая Майка»¹.

¹ Старая мать (болг.).

Но вот и слово ее услышим сейчас. Когда я готовил в 80-гг. издание книг отца и собирал воспоминания о нем, мне двоюродная сестра Милка передала письма, что Баба Мария писала из Москвы дочерям родным в Болгарию. По ним можно восстановить быт и атмосферу нашей семьи, что я уже слабо помню.

Из писем Бабы Марии Гачевой в Болгарию 1936–37

(взять из кн. Димитър Гачев. Избрани произведения, т. II (София, 1989, стр. 258–74), перевести с болг<арского>)¹.

Пошел в школу в 1936 г.

Однако, начинаю тонуть. «Вперед, вперед, моя история!..»

1 сентября 1936 г. папа повел меня за ручку в школу. Правда мне только 7 лет и 4 месяца, а по правилам — с 8. Но мама попросила подругу с Минска — Мирру Ионасовну Нахимовскую (даже вроде сестра дальняя), кто работала в системе народного образования, и та поговорила с директором ближней школы № 16 Николаем Михайловичем Беликовым (энергетический маленький, сухощавый человек — антипод чеховскому однофамильцу-учителю «в футляре») — и мне разрешили начать...

Помню вкус портфельчика (или ранца) с отделениями, пенала, тетрадок в линейку и в косую клетку. Карандаши, чернильница-непроливайка и перья № 96, что дают при нажиме толщину, расходясь. Точилка, ластик...

Не помню, читал ли уже... Наверное, да.

Полина Гавриловна — так звали учительницу нашу в начальной школе — первых 4-х классов, что все предметы вела. Уютная русская невысокая женщина с пучком русых волос, ласковая, молодая (слух помню: что замуж выходит — за дядю какого-то...). Жила в слободке возле стен Донского монастыря — туда к ней на дом как-то классом ходили: уроки природы, кажется. В деревянном домике барачного типа — или в избе?.. Что-то не городское.



Георгий Гачев — ученик. Москва, 1937.
Архив семьи Гачевых

¹ Это намерение Г.Д. Гачевым исполнено не было.

Учиться любил, бумагу, буквы и цифирки наносить — и само собой «отличником» стал — и уж инерцию эту и статус стал держать все десять классов — уж амбиция появилась. Она заставляла потом и предметы, чуждые мне, математику и физику осиливать.

Школа, конечно, аскеза, упражнение воли, дисциплина. Вставать затемно зимой и успеть к звонку. Какой праздник был, когда мороз за 25 градусов — и занятия отменялись!

В школе после уроков — кино: «Красные дьяволята», «Потемкин» помню и др. — киномеханик диски частей вставлял, и мы ждали, шумели-баловались в паузах. «Чапаева» много раз смотрели. Выросши, ходили на Калужскую площадь (ныне Октябрьскую) в кинотеатр «Авангард» из обезглавленной церкви в начале Якиманки, а потом и в «Ударник» и в «Первый детский» возле Дома на набережной — в конце Якиманки.

В школе утренники, детская самодеятельность. Я декламировать любил — «У Лукоморья», потом — «Стихи о советском паспорте», «Песнь о вещем Олеге», «Чуден Днепр». А на новогоднюю ёлку разыгрывали «Сказку о царе Салтане» — и мне дома костюм царевича Гвидона шили — кафтан, шапка «соболья».

С кем дружил в классе начальной школы — не помню. Лишь Сережа Подъяпольский, белоголовый мальчик интеллигентный. К нему в дом на Б<ольшой> Калужской ходил — и брат старший, Гриша — очень похожие. И запах от квартиры и изо рта какой-то затхловатый... Потом он стал знаменитым реставратором — архитектуры...



На обороте надпись рукой Георгия Гачева:
«Я заснят с ребятами на физкультуре». *Архив семьи Гачевых*

В другую сторону от школы, через Выставочный переулок — заводы: Им. Орджоникидзе и «Красный пролетарий» — Станостроительный. И там Клуб, где кино и самодеятельные спектакли. Помню «Бедность не порок» показывали — в день выборов в Верховный совет в 1937 г.

Из общественного? Отец водил на парад летчиков в Тушине — на другой конец Москвы и долго добирались домой. И раз — на трибуну на Красной площади достал билет — и я на шее у него сидел и глазел.

Собирал фотографии маршалов — продавались в киосках — такие импозантные в мундирах, портупях и орденах — и комбриги: Ворошилов, Буденный, Тухачевский, Блюхер... Потом, правда, исчезли — и вычеркивались из учебников истории и замарывались.

Безвинен человек детский — до пробуждения пола

17.8.2003. Снова с плато нынешнего своего почти 75-летия буду спускаться в шахту жизни до слоя себя детского и там вбуриваться в пласты и складки, расшевеливать слежавшееся, вдувать воз-дух нынешнего дыхания и мысли. Как в искусственном дыхании, оживляя, рот в рот вставляют и струей углекислоты, отработанного удушающего воз-духа — раз-воз-будить свежак кислорода, выдохом — вдох...

Вчера к вечеру устал вспоминать — и сели со Св. смотреть по телеку фильм «Малена», Италия-США — 2000: как в Сицилии подросток дронит на суперфемину: подглядывает за ее телом и соитиями. Вот мой основной сюжет-завод жизни, к которому скоро перейду!.. Смеялись мы со Св. — подходящести. <...>

Оглядываясь, осознаю, как беспроблемна течет жизнь до пробуждения пола! Каким чистым и правым себя осознаешь — пока не запятнаешься! Тогда — рубеж: себя источником черни и подлянки и вины-греха начинаешь осознавать — и «комплекс неполноценности» себя — конечно! Без воткнутия в живую женщину ты — ничто, половинка несчастная, болт без гайки — ничемный!

И стадияльно это соответствует — грехопадению прародителей и рождению самости и своеволия — и изгнанию из рая — детства. Самоосознание пробуждается — и с ним ПРОБЛЕМНОСТЬ в отношениях между миром и мною. А до того — как бы ни плакал и ни страдал от чего: от болезней (мука от Природы), наказаний за нарушения (боль от Социума)... — ЦЕЛОМУДР я и внутренне правым себя чувствую, простодушен.

Вон как все равно прав Тёма у Гарина-Михайловского, сломавший папин цветок и подвергшийся порке жестокой, когда кричал: «Папенька!..» — что при чтении и внучку Верушку потрясло: ведь мальчик хотел хорошего!

Да, простодушен человек до пробуждения пола. А после — становится двоедушен, с затаенным поддоном. Сложно-составен...

Так что окунемся снова в период безвинности — недолго ему!.. — Хотя нет: целая огромная полоса жизни: от 6–7 лет, где я еще, — до 14, когда вдруг пузырек с ядом в себе ощутил и как прорвался он однажды...

Нега болеть

Вот упомянул болезни. Я рос в общем здоровым, но иногда, естественно, побаливал — простуды, ангины. «Искривление носовой перегородки» — такой с детства диагноз помню моему длинному носу, отчего слегка затруднено дыхание и посапывал я и «хмыкал», продувая струей затор в ноздре.

Вырезали мне что-то: аденоиды или гланды? — и помню наслаждение от законного права сосать мороженое. Это где-то в 3–4 года. Боль переносил без бунта — так удивлялись спокойствию, когда зашивали рассеченный лоб (мама рассказывала).

Но болеть простудой и ангинами — даже любил: приятно в постельке — обхоженным, съезживаться от мира в тепле, и в компрессе. Вокруг хлопочут — всё тебе: и бульон, и котлетка с пюре...

Полусвет — от притененной лампочки, подсурдинены голоса взрослых — «режим наибольшего благоприятствования» — тебе создает люд и мир...

Читают сказки, потом сам залюбил читать в постели. Сказки западноевропейские: Перро, Гримм, Гауф, Андерсен — впечатляли. Русские сказки не вошли таким слоем в воображение с детства.



Димитр Гачев. Москва. 1933.
Архив семьи Гачевых



Георгий Гачев в детстве. Москва. 1933.
Архив семьи Гачевых

Запомнилось, как по радио исполнялась «Аида» — и отец мне рассказывал по ходу музыки сей потрясающий сюжет — во время какого-то у меня жара, при полусвете...

Во время болезни — уже лет в 7–8 скручивал «пульки» для рогатки. Вырезал листки из газет или старых тетрадей — и скручивал и загибал. Целые мешочки наполнял никчемно в итоге-то... Хотя нет: ставил какой предмет, прицеливался — и попадал, сбивал. Как тир домашний... Но избыточно надевался... Какое-то плюшкинское коллекционерство — самоцельное. Что особенно сказало потом и доселе в писании Дневника «жизнемыслей», «записюрек» — в никуда, для себя. Записал, в папку сложил — и отложил — как скупой рыцарь в сундук и склеп. Собираение сокровищ — без употребления: не открываю ведь, не перечитываю!.. Записал — и освободился — в воздух!

Пульки еще из проволоки гнули с ребятами — и во дворе стреляли куда-то: и по воробьям — не безобидно, а то и друг в друга...

Некоторое время — марки собирал. Но не хватало аккуратности альбомы заводить и системно расклеивать.

А вот что долго было — так это КВАРТЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ на карточки расписывать. Как-то в гостях в такую игру играли — как в карты. Раздавали «карты», где название произведения того или иного писателя. В колоде 4 наименования от каждого. Задача — угадать, у кого что, и собрать полный квартет автора...

Колода была типографски напечатана — но давно, из старого быта игра — видно, от гимназистов, такой не достанешь и я сам стал нарезать карточки и на каждой — имя автора и одно произведение. Для этого стал рыться в огромной отцовской библиотеке и из Истории литературы (например, Батюшкова тома...) выписывать авторов и названия. Но так и узнал многое — и понравилось... Потом приглашал к себе в гости или приносил куда — и играли... «Дай мне Стендаля “Ламель”... Десятки, даже до сотни авторов-квartetов накропал — и в коробке — пропали...

А что читал?

Сказки — само собой. Про животных: Ольга Перовская «Ребята и зверята, Сетон-Томпсон (плакал от жалости). Гулливер и Робинзон Крузо, «Маленький оборвыш» Гринвуда, «Принц и нищий», «Том Сойер» Марка Твена, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Борьба за огонь» — Рони. Жюль Верн, Вальтер Скотт — Айвенго, Квентин Дорвард. Особенно звучность имен впечатляла. Даже нарисовал — лет в 10–11 автопортрет и подписал: «Бриан де Буагильбер, Реджинальд Фрон де Беф...» Дома книги — всё классика, серьезная, взрослая, а потому в районной библиотеке на Донской — приятно было зачитанные книжки брать, засмоленные, ветеранные...

Еще про жизни композиторов — Каринцева: «Верди», «Моцарт» и путеводители и либретто опер — это уже мама просвещала, когда стал музыкой заниматься... <...>

Занятия музыкой

Итак, перекинемся снова через 70 лет назад — займемся Музыкой. В семье музыкантов естественно было и мне начать музыке учиться. Правда: особого рвения и таланта я не проявлял. Но и против не имел, хотя зубрить гаммы, когда на дворе ребята играют-бегают?.. Слух у меня — не абсолютный, а относительный, так что когда потом диктанты писал, мне каждый раз мучительно приходилось от печки тоники откладывать интервал. Но чувство ритма четкое и интонировал чисто, когда что пел... Ну и в семье таких родителей — среди шкафов книг и с роялем (не нашим, вечно прокатным) — большим, черным, как членом семьи (а не обстановки — как собака в прочих домах) — не мог не тянуться к таинству его и волшебству — и призванным вступать в мир Культуры себя чувствовал — в хомут ее надевать и аскезу, как и в школе — с честолюбием отличничать, делать хорошо и похвально... Ну и, конечно, наслушивался музыки — через игру мамы и иногда домашние концерты. В частности: на новоселье в Выставочном к нам пианистка Мария Гринберг приходила и играла (гостем тогда был и В.П. Коларов с женой красавицей Цветаной¹). И в консерваторию меня водили на концерты иногда — развивали родители!

Сначала лет с 6: к нам на дом приходила учительница — кажется Кестнер, Татьяна, красивая дама. Но толку особого не было от прерывистых и необязательных ее приходов и моих занятий — и тогда определили меня в МУЗЫКАЛЬНУЮ школу на Якиманке — там с дисциплиной и сольфеджио и хором и ученическими концертами. Там тоже молодая красивая учительница — Долли Зиновьевна (Крыжановская?), а хор вела полная русская... Горизонтова. Очень запомнилось, как разучивали «Попутную песню» Глинки и «Уж тает снег, бегут ручьи...» Чайковского.

А что играл? Репертуар обычный: этюды Черни и Лемуана, инвенции Баха, Сонатины Клементи и Чимарозы, из Детских альбомов Шумана и Чайковского, Григ...

Вообще-то рука у меня корявая: не тонкие длинные пальчики, а ладонь грубая, мужицкая, так что с техникой мне всегда было трудно, и пассажи гладко не выходили. Но — старался...

От дома нашего до муз<ыкальной> школы удобно было добираться, запрыгивая на телеги и сани, что по Большой Калужской через Якиманку катились. Музыкальную папку закидывал, потом сам влезал — и пот и запах лошадиный — как дух русский веял, посланец деревни и народа... — влекущий, добродушный...

В музыкальной школе на Якиманке впервые пересекся с Сережей Бочаровым, кто стал потом с Университета мне главный соратник по жизни и культуре. Он учился на скрипке...

¹ Василий Петрович Коларов (1877–1950) — деятель болгарского рабочего движения, член Президиума исполкома Коминтерна; Цветана Николаевна Коларова (1886–1962) — супруга В.П. Коларова.

Военные игры в Парке культуры им. Горького

От нашего дома через Б<ольшую> Калужскую перейти и ты уже в Парке, что от Крымского моста до Нескучного сада над Москвой-рекой тянется. Потом, подростком, я надевал дома коньки, перебежал улицу, перелезал через забор, ограду — там всегда дырки — и прямо на катки. А юношей — на лыжах катил за Нескучный сад — на Воробьевы горы...

С ребятами из двора мы наладились ходить летами 37 и 38 гг. в группы БГТО (Будь Готов к Труд и Обороне), что зазывали окрестных мальчиков. Там было интересно: давали форму, противогазы, в тире учили стрелять, маршировали, строились, бегали, соревновались... Некая инициация в мужчину совершалась — и мы так к чувству собственного достоинства мужского (кандидаты в герои!..) приобщались.

Арест отца в ночь с 23 на 24 февраля 1938 года

Безмятежное детство оборвалось с этим событием.

Я спал в комнате с бабушкой — отдельной, у входа, а в двух смежных папа с мамой, роялем и книгами. Резко зажгли свет. Дяди резкие вошли — стали вещи швырять, ища что-то. Мы с бабушкой стояли; потом нас позвали в комнаты родителей. Там уже разброс и кавардак... Папа, съездившись, что-то подписывает за столом. Рабочий слесарь из соседнего барака, что нам чинил что-то раньше, — стоит, как «понятой» (потом узнал слово такое). Чужие люди по-свойски распоряжаются, торопят... И вот, надев черное пальто с узелком (или сумкой иль чемоданчиком), папа прощается: обнимает бабушку, маму, меня — говорит, что скоро разберутся и он вернется, — и дверь захлопывается.

Высчитываю: сколько же мне тогда было? 8 лет и 10 месяцев, и во 2-м классе я... Что мог тогда понимать? Шок помню, а пониманий своих — нет. Родители — скрывали, что происходило. Но, наверное, встревоженность улья нашего дома мог уже воспринимать. Ведь чистили подъезд за подъездом, а наш — 6-й. Как мама потом рассказывала: наутро к нам явилась жена Атанасова, болгарина, кажется, чекиста (может, он и донес, хотя дом арестовывали валом, и в особом доносе не было необходимости), кто жил в 5-м подъезде: «Что, станало е вече?» — по-болгарски спросила («Что, произошло уже?..»).

Удар был особенно чувствителен отцу, ибо накануне — как раз 23 февраля — его приняли в Союз писателей, и он пришел домой с этой радостной вестью. Но каково было Бабушке?! Присутствовать при распятии второго сына? Приехать в обетованную страну социализма, за жизнь в которой погиб ее старший сын и каковую она повышенно расхваливала в письмах дочерям в Болгарию, приукрашивая наш быт, — вот!..

Стали мы с мамой носить передачи в тюрьму... Хотя и это было опасно — маме; ведь Бабушка — подданная иностранного государства! И когда нача-

лись хлопоты по ее отъезду в Болгарию и маме приходилось сопровождать ее в посольство, Бабушка в слезах говорила: «Мирра! Я тебя погублю!» И им виделось, что кто-то выслеживает их...

Пусто и холодно стало дома. Исчезло простодушие к миру и людям вокруг. Чем-то клейменный я стал... Но это не сразу... Просто выросел я, серьезнел. Усерднее занимался предметами в школе, музыкой. С мамой, осиротевшие, сблизилась. Она много мне играла, объясняла музыку — Шуберта «Лесной царь» помню. Мы стали играть в 4 руки — «Вальс-фантазию», «Соль-минорную симфонию» Моцарта, Гайдна. Мама читала лекции от филармонии перед концертами. Помню — о Листе в МГУ, а Мефисто-вальс исполнял Яков Флиер.



Мать и сын. М.С. Брук и Г.Д. Гачев в московской квартире. Москва, 1938.

Архив семьи Гачевых

Лета уже не на дачах, а в пионерлагерях стал проводить — и там с более взрослыми ребятами дружить. Дождливом летом в лагере Фирсановке (кажется) койки наши оказались рядом с одним начитанным — не помню имени. Но потом я ходил за книгами к нему домой — на Неглинной он жил — и много Джека Лондона перечитал.

Стал подписываться на «Пионерскую правду» и читал из номера в номер «Тимур и его команда» Арк. Гайдара, «Тайну двух океанов» — чья?..¹

¹ Автором научно-фантастического романа «Тайна двух океанов» (1938) был писатель-фантаст Григорий Адамов.

Стали приходиться письма отца с Колымы. Мы с мамой что-то доставали и посылки обшивали и посылали... Отец в письмах наставлял меня — делать физкультуру, больше заниматься музыкой, начать иностранный язык изучать. Ставил идеал гармонического человека, как у древних греков.

Еврейская половина моя

Уехала болгарская бабушка — появилась бабушка еврейская — Сарра Яковлевна, мать мамы, ее старшей сестры — Маши, детского врача, и Исаака Семеновича Брука, кто — выдающийся инженер, создатель первой у нас счетно-вычислительной машины, за что в 1937 избран член-корреспондентом АН СССР¹. Она жила с сыном — в Харькове, теперь частично у нас, частично у других детей. Красивая, осанистая, седая, страдала астмой. Еврейская кухня заменила болгарскую. Фаршированная рыба-фиш, курочка, клецки, форшмак... Но мне она не нравилась — кисло-сладкий дух... Или на кухню падал отсвет моего не очень приятия еврейской родни — и вообще этой половины моего существа, которую я всю жизнь несколько стыдился и скрывать норовил? <...> А ведь теплые, заботливые, столько помогали маме и мне... Но спрашивали = простоудушно «лезли в душу» — так истолковывала душа интроверта, замкнутого, кем я все более становился... А по существу-то все милейшие, добрые, интеллигентные люди — многие двоюродные сестры мамы. Да и виделись совсем иногда, не назойливо...



Дедушка и бабушка Георгия Гачева по матери — Симха (Семен) Брук и Сарра, дядя Исаак Брук и тетя Мария. Минск. Конец 1910-х годов

¹ Исаак Семенович Брук (1902–1974), брат М.С. Брук, ученый в области электротехники и вычислительной техники. Аналоговая вычислительная машина была создана И.С. Бруком в 1939 г., первая электронно-вычислительная машина — в 1947 г. Членом-корреспондентом РАН И.С. Брук стал в 1939 г.

Лишь к дяде Исааку влекся — и потом, у него бывал и интересно с ним. Блеск ума из него излучался.

В маме еврейство — в цапучести: все-то замечаниями мучила: гигиена, руки мыть, сквозняки, кипяченая вода... Слава Богу, полна интересами работы вне дома — и музыкой, а то ведь опасен этот тандем: одинокой еврейской мамы — без мужа — лишь с сыном!.. Очень активна, невольно подавляла, — и всю жизнь протирался к самостоянию.

Война. Лето 1941. Загорск. Эвакуация

18.8.2003. Влез в телогрейку, валенки (моя роба, униформа-мундир умозрения — мужицкая), раскрыл окно — дышать холодом, сам в тепло окутав свой фюзеляж, — мой стиль: любитель свежести воз-духа, всегда холодно в моей комнате. Остужаю, видно, горючую смесь моих кровей, их брожение. Сливаются они во мне, как «струи Арагвы и Куры». Изнутри разогрев имею — и конфликт, проблемность — из трехсоставности моей: отец — болгарин, мать — еврейка, а родной язык — русский, и родился и вырос в России в Русском космосе и культуре... Так что уравнение из этих разных и неизвестных — призван решать опытами своего существования, всю жизнь — и осмыслять в слове.

Сейчас — в русскую субстанцию начну вырастать — ВОЙНА!

Ну да: доселе, до 1941 г. и моих 12 лет, — рос дома, в книгах и музыке, в городе и на дачах, в школе, где к общему знанию человечества приобщался, обитал в островном космосе нашего дома космополитически-коминтерновского — и островную — особую судьбу-импульс заполучил, с арестом отца и клеймо «сына врага народа» заполучив — отметину на предстоящую жизнь. Однако все это сливалось с общесоветскостью: и родители, и я были вполне советские люди, и я вырастал в мифологии Революции и Гражданской войны — как своей: родные преданья, и песни пел «По долинам и по взгорьям» и «Орленок», и «Широка страна моя родная» и «О Сталине мудром, родном и любимом...» — а ведь воистину прекрасные мелодии!.. В нерасчлененном мареве веры советской и доверчивости детской — уютно обитала душа...

И вдруг — ВОЙНА! И в ней мне главные опыты: месяц в школе в Загорске — возле Троице-Сергиевой лавры; отъезд в эвакуацию в товарных вагонах долгий — на Восток, ощущая тело — простор России — и год в русской деревне Казанка под Бугульмой... Главное тут — встреча с Русью, выход из искусственного космоса советского города — в природу русскую, в крестьянство и быт слободской и деревенский.

Сразу — воздушные тревоги в Москве: сирены, бежать вниз в бомбоубежище в подвале дома, а если на улице застало — то в метро — прямо на рельсах располагаться, с собой узелки — что-то есть, жажда, ибо воду забывали брать... Зарева на небе — отсветы пожаров в каких-то районах города.

Через полмесяца от начала Войны собрали детей — от школы или от района? — и вывезли в Загорск и разместили в тамошней красно-кирпичной школе. Я только кончил 5 класс, лет мне 12 — самый ребячий возраст для озорства подросткового. И мы там, на приволье, без родителей и учителей, — баловались. Правда, часть дня вроде на работу какую выводили: в городке или на поле, но главное, что помню, — это как мы перелезали через стены и дырки в комплекс Троице-Сергиевой лавры — или по окраинам ее — в монастырь какой — и там кучи беспризорных книг рукописных церковных в переплетах золотистых и с картинками внутри — таскали, разглядывали, вырывали иллюстрации... Варвары были мы... И тем не менее эта дивная красота и изукрашенность — непонятно, для чего, но ведь когда-то и зачем-то! — невольно просачивались в душу и дух и какое-то задумывание внутри сеяли...

Со стороны Москвы часто зарева на небе видели.

...Но что же это я не могу припомнить — с кем, ребят, людей? Места и занятия и дела и предметы помню, а человек — нет! И это в воспоминаниях о предыдущей полосе жизни, но так и наперед будет — знаю. Какая-то особенность оптики моей в этом: слабая душевность и человечность и отзывчивость?.. Неклейкость к объективности?..

Всего месяц или менее был я в Загорске — в июле, начале августа 1941. Приехала мама, забрала — собирать в дальнюю эвакуацию. Мама от Консерватории включилась в группу семей музыкантов, кого отвозили на Восток.

Погрузили нас в товарные вагоны — «теплушки», не помню: разгороженные с сидениями или так, на своих тюфяках, что соломой набивали, — и долго ехали, медленно — неделю, может. Выбегали наливать кипяток в кружки и бидоны, меняли вещи на еду у бабок-теток. Когда предупреждали, что стоять будем долго, выбегали на природу — на травке побыть... Но со страхом — не отстать, когда гудок, и вагоны начинали скрипеть и тащиться. Мосты, реки, города, полустанки и просто среди поля остановки — так наощупь осязали тело страны, территорию России, медитировали ее, так что в подкорку все эти впечатления стали входить, переживания положительные — как залежи, патриотизм питающие... Тут и вагонное сообщество образовалось, взаимопомощь, взаимопомощь, как «мир» — тем более что музыканты и ранее знали друг друга...

И вот привезли на станцию Бугульма, расселили временно в школе, кажется. Стали сортировать-группировать, куда кого, и через пару дней — за нашей группой приехали подводы-телеги из колхоза «Казанка». Ехали сначала в гору, потом по плато поля долго — и затем спуск длинный, пологий — в полудолину, где с одной стороны речки (Зай — узнал потом имя) — деревня вольно раскинулась. Несколько «порядков» вдоль и поперек, домов 60, до ста. А на том берегу — лес, леса... Просторы!.. Дыхание!.. Это тебе не стены и сбитость города!.. Летай, душа!..

В деревне «Казанка» — 1941–42

Привезли на «площадь» перед правлением — и туда пришли хозяйки — и стали им распределять-всучивать «икуированных»... Достались мы с мамой — Настасьей Скотиной — маленькая, шустрая, «велосипед» — прозвище ее «по-уличному», морщиниста — не столько от лет, сколько от работы на ветрах, в платочке цветастом, хитро-носенькая... Не знаю, на каких «правах» брали нас, притеснялись, терпели? Может, трудодни им начислили или по приказу? Ну и сами гости незваные что-то им давали — из вещей, что с собой прихватить смогли...

Изба Настасьи — приземиста, небогата, комната, печка русская, кухня и закуток, за занавеской, куда нас определили. В доме еще сын Горка — Егор, 17 лет, скоро его призовут (и погибнет!..) — и задирист, первый парень для девок, все на лошадях и с кнутом. Он и вез нас из города, а потом обозы с хлебом, поставки, телеги, покрытые брезентом, — возил в Бугульму — так его помню¹. И еще — младшая сестра — Дуняша, лет 12, диковато сторонившаяся нас... А зимой еще сожителями в избе были теленок и ягнята.

Приезжих распределили и на работы колхозные. Сергей Захарович Асламазян — виолончель в квартете имени Комитаса — стал конюхом. Помню его в валенках и телогрейке, крутящим козью ножку курить самосад.

...Гоша! Гулять! — младенец Вера вбежала.

— Не могу, в деревню еду сегодня.

— Надо! Чтоб мысли пришли — и без одной-единой ошибки их записал!

2 ч. Погонял меня младенец как лошадку, и припыхтел я — в стойло-сидейло своего отсека на скотном дворе Бытия.

Маму и Клавдию Морейнис — тромбон в симфоническом оркестре («первая женщина-тромбонистка!» — гордо мама о ней) определили с бабами на веялку — крутить на гумне. Я тоже бегал помогать — и сор вдыхал. Еще на коноплю — собирать, вязать в снопы — запах терпкий — ныне узнал, что из нее — наркотик!

Весела общая работа! Обед привозили в поле — или с собой молоко в бутылках и хлеб...

...По радио — сегедилья из «Кармен»! Символ мамы — о Бизе же ее книга недавно — в 38-м вышла. Да и теперь — всего 36 лет ей: радостная, веселая, красивая женщина: фортепианными пальчиками, не унывая, крутит веялку. Еще и коммунистка он, заводила-организатор и агитатор на селе — в райком ее вызывали — и она одна на подводах, а то и пешком — ходит в райком в Бугульму — и возвращалась — по вьюге зимой — замерзала, ее подобрал как раз Горка попутно назад. «Все для фронта! Все для победы!» — это не шутка!..

И когда мужиков призвали и провожали и стоял плач баб, а мужики в последний раз чарочку — хмельные — отдирались — мама мне:

¹ Это уже у Дуни Биксиной (примеч. Г.Д. Гачева).

— Смотри! Запоминай!..
И сейчас плачу, вспоминая — и их, и ее...

Перечитываю «Самопознание» Бердяева и сравниваю нас

7.30 веч. В деревне, в избе, у окошка, на теплый закат. Так мило-приветливо все. Вот яблоко упало — их тут завал: ковер падали! Хоть бы воровали, а то гниют!.. Да детей в деревне почти нет.

Разругались со Св. на уходе из П<ерedelкино> — и сразу отдача: так мила она, и следы ее присутствия в избе — такая нежность щемит душу!.. Как любима жена — в разлуке, на отдалении! А при коротком замыкании — вспышки то и дело...

Проведу тут 5 дней — до 23 августа, ее дня рождения, когда слетимся всей семейкой в П<ерedelкино>. Что ж — хорошая пауза — для накопления умиления! И теплынь и свет да утвердятся! Ведь — Фаворский завтра! 19 августа, 6 по-старому — Преображение Господне!.. А по-народному — Спас яблочный!

О, как дивен народный, природный календарь, сопровождающий календарь церковный, спиритуальный — как втора в песне, второй голос — овевающий гармонию образу!

Это — в диалог с Бердяевым, чье «Самопознание» я читал по дороге в электричке. Попросил у Насти, нет ли у нас тут каких жизнеописаний — примериться? И оказалось, есть «Самопознание» Б<ердяева> и еще дала Андрея Белого — «Начало века».

Бей Шопенгауэра Ветхим заветом = радостной книгой!

Стало скучно бердяевское отвержение «мира» профанического, житейского. Все родовое и семейное ему отвратно — и «миги счастья» презренны, и романтические телячьи восторги перед красотой Природы. Но свят целый мир — в нем, в «Я», и прорыв к трансцендентному ЗА все!

Но чем же ЭТО — мир вокруг — плох, бессмыслен?

Я-то как раз таю в восторге перед Изобилием Бытия — и все вокруг полно тайны и красоты. И каждый человек — лучше меня...

И вот — ключевой ответ:

«Характерно, что во время моего духовного пробуждения в меня запала не Библия, а философия Шопенгауэра. Это имело длительные последствия. Мне трудно было принять благостность творения. Обратной стороной этого был культ человеческого творчества (Б<ердяев>. Самопознание. М.: ДЭМ, 1990, с. 46).

— Значит, Библия — радостная книга. Особенно Ветхий завет: всеблагословляюще все формы и отправления жизни Рода людского, и быта, и истории. Недаром, сотворив, Бог говорил: «Это хорошо!» про все.

А этот, философ «когито» и «я», — выбирает суходрочку безжизненной и безэросной персональности! И вместо Творения Бога вкупе с порождениями ПриРОДЫ — Творчество человека из гордыни и самости «я».

Что ты можешь выдумать красивого? Как Бог Иову: «Левиафана — ты со-здал? Бегемота? — Можешь?»

Так что вот тебе путь — для подкрепления восторга перед Бытием и ра-доваться полноте и изобилию и красочности Жизни: читай Ветхий завет — именно, не Новый. Недаром Розанов его любил!

И, ехав в автобусе, отложил книгу — и взглянул за окна: Боже! Оранже-вые поля-жнивы, за ними темная зелень леса, поверху синь неба! Домики крестьянские!.. Душа лопается от восторга перед полнотой «профанического бытия» — мира природы, истории, труда, деторождения — вон бабы судачат, наряженные в дорогу.

И недаром календарь церковный прислонился к язычески природному календарю народных трудов на земле, так что двуголосие их пошло: Преоб-ражение — и яблочный Спас. Рождество Иоанна Крестителя — и Иван Купа-ла... На Троицу — сажать огурцы... и т.д. И неизвестно, что чему вторит.

А что? Троицу — ее идею и понятие — сотворишь ты, человеке, сосчита-ешь! А Огурец?! Что в твоих силах? Представление — или вот этот хрустящий огурец — «с веточкой укропа — не надо снимать!»? (Розанова процитировал).

Да, полнокровность — вот преимущество Ветхого завета перед Христиан-ством: оно только ниточку и узкий путь выбирает из ковра Жизни. Цензури-рует, выбраковывает высокомерно и высокоумно.

То-то еврейство так радостно живет — при всех гонениях, а христианин — скорбен: уперт в грехи — и скучен, монотонен.

То-то Церковь мудро поступает, когда издает Новый Завет — с Псалтырем вместе. Через псалмы Давида — вся гамма жизни и быта и космоса и чувств — вливается и восполняет монотонь наставлений апостолов... Евангелия, ко-нечно, цветисты, но песнопений же там нет! А царь Давид — «скакаше и играша», веселяся — и народ веселя...

Однако уж темнеет, под 9. Надо посообразать ужин... Картошечку свою копнем да сварим и чай с яблоками. Самообслужимся — в скиту моем.

Ну и радио включим — впустим голос *мира*, планеты, и страны и культуры.

Сон

19.8.2003. Под Ларисиной березой расположился. Пасмурно, но не холод-но. Раздышимся на вольном воздухе.

Ночью сон сюжетный — и не улетучился, а внедрил, запомнился.

Будто вечер в обществе знакомых, весело. Св. вдруг стала обличать меня едко — «при всем честном народе». Но ничего — за весельем замнется «для ясности». Вдруг как стукнуло меня: Мать честная! Ведь я взялся-обещал про-водить дядю Исаака на аэропорт, а я — тут и забыл! Сколько времени? Надо

к 1 часу уж там, а еще за ним заехать на ул. Чкалова у Курского вокзала!.. Но часов нет ни у кого. Звоню по телефону — оказывается — 11. Еще можно успеть. Надо только позвонить дяде, предупредить, что помню, еду. Раскрываю записную книжку: вот незадача — телефона дяди нет! Как же так? Ведь ближайший родственник!.. Ладно, собираюсь бежать. Спрашиваю: как отсюда добираться — от Таганской вроде — до Курской? Кто-то называет номера автобусов, но не запомнив, бегу одеваться: машину поймаю — скорее! Но у вешалки — не нахожу туфель своих: перепутал кто-то. Шурую — нет. Вот похожие, мой размер, но в калоши вдвинуты. Вытащил, вдел — и бегом вниз.

На улице тьма, выбегаю на трассу — Садовое кольцо вроде, но мало узнаваемо. Соображаю, что ловить надо с другой стороны. Улучил момент пересечь поток — встал на другой стороне — и тут же перекрыли и видно, надолго!.. Перебегаю назад — в боковой переулок, где напрямую вроде можно автобусом или троллейбусом, но каким?.. В освещенную будку стучусь — какой-то пьяный невразумительно что-то орет. Я представляю дядю, что — немощный, с женой — уж одеты, ждут, недоумевают, паникуют. И тут — Ба! — второй раз вдруг стукнуло меня: ведь дядя умер! И уж давно. Сейчас какой год... А он — лет 20 назад. То-то нет телефона его в записной книжке, а надпись: Введенское кладбище, аллея 11 №... — И — перевел дух — и проснулся...

И размышлял: вот ведь как! Неспроста это. Ведь сколько уж лет сны, что вижу, тут же улечиваются, как просыпаюсь и вспомнить пытаюсь. А тут — четко и членораздельно помнится: не как смутный клубок, а членораздельная речь... И начинаю понимать, почему: ведь ум, предприняв Жизнеописание, настроился в воспоминания погрузиться, в то, чего нет, в образы толщи за-бытий (улетевших со-бытий), т.е. в ирреальное, в «сновидение жизни» — уж такое уразумение и слово произвел на днях. То есть жанр сна становится средоточием усилий духа: припоминание и вызов видения из недр полутьмы Памяти — из залежей МАТЬМЫ. И как уж настроен мозг прочищать смутно вылезавшее видение из прошедшего, — так и вот из смуты сна, ночью протекшего, низшедшего и ушедшего, четкую картину способность обрел начертать и пересказать...

Но и элементы узловые в сем сне: Светлана-жена (раскаянье в ссоре), дядя Исаак, выделенный из Еврейства родни, на днях, и тоска по общению в компании неутоленная моя, что в связи и с одиночеством Бердяева вчера ожила, — естественно слетелись возобразовать сюжет-текстуру сего сна.

Что же это получается с моим «Жизнеописанием»? Разорвал его вчера на таком драматическом месте, как Война! — и стал мелочишку сегодняшних опытов и соображений записывать и вклинивать туда... Но ведь и «мелочишка» эта уже сопряжена с основным потоком вспоминаемой жизни, с ее моментами, только что воскрешенными, — и имеет отношение к делу

Жизнеописания. Значит, оно предстанет не как «дело», а как «делание». И назвать будет надо так:

«ПИШУ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ»

В ходе воспоминаний — как вытащишь одно и записал и идешь дальше, начинают припоминаться из залежи, разбреженной вчерашнее воскрешенным, — боковые, связанные, упущенные — и их тянет восписать.

Дополнения к довоенному детству

Страх иметь за спиной пустоту — помню из инстинктивных порывов прижиматься к стенке в полутемной комнате — и вообще идя где: за спиной — зона опасностей = *невидалей*, как упырей-призраков. Да, таковой неологизм произведем — существо — НЕВИДАЛЬ как ужастик антропоморфный.

Даль и невидаль

И насколько ДАЛЬ — приемлема, ясна, светла, рациональна, «аполлонова», влекуща — настолько НЕВИДАЛЬ (уже как не существо, а сущность) — мистериальна, смутна и темна, «дионисийска», где я — игрище непонятных стихий и вне, и в себе. А ДАЛЬ — лицом к лицу, перед и свет, брат моему «я сам», с чем я — субъект и могу справиться. То-то на Руси, где позитивный образ мира и Бытия, — БЕЛЫЙ СВЕТ, — ДАЛЬ на тех же правах и родственный символ.

Из довоенных лет — *лето в Одоеве*, году в 1935, — с мамой ехали на телеге (или тарантасе?) долго по полям ржи с васильками, когда новый спуск, подъем на холм, и выгибается впереди земля, сокращается, а когда поднялись, — снова распрямляется и простор... Воистину «за Далью — даль», как русский поэт Твардовский эту сущность и процесс назвал в поэме. И телега как лодка по морю полей с берегом лесов — так тряска и колыхание это врезались в детскую душу — как соитие с благодатью России, с приветливостью ее бесконечного простора.

А летом 1937 года месяц с мамой по курсовке в доме отдыха Большого театра в Макапсе — между Сочи и Туапсе на берегу Черного моря. Тут другой космос восхитительно вошел в душу: море, горы — как раз антиравнинный пейзаж, внутренне динамичный и драматичный: диалог, борение Моря и Гор Кавказа. Солнце исподлобья сперва встает, потом в подлобье закатывается в ровень-гладень Окиян-моря, воды-стихии. А днем, когда оно на небе и разлит по бытию свет, глянь на горы — они подстерегают, мощные, темные во грудях пиков и покровах лесов — как воплощенная ночь. Горы при море днем, при блеске его под солнцем, — как *видимая Ночь*. Как видишь уши свои, или как не можешь впрямую глядеть на солнце — слепнешь. Чудесно снимаются эти рациональные запреты... Воочию — Чудо — дается.

«Курсовка» метафизичнее «путевки». По курсовке мы только приходим на время могли в светлый дом отдыха: питаться там и пользоваться развлечениями: кино, библиотека, я — к игре в бильярд пристрастился — и уже обыгрывал взрослых дядей, и льстиво произнесли ласкательное слово «чемпион по бильярду», а я уж и рад стараться — тщеславие!..

Но на ночлег мы уходили из залитых светом колонн — в бессветность и «невидаль» кривых улочек аула — погружались в первобытность, из цивилизации в народ и природу. Охватывала она — запахами пряными, стрекотом цикад... и страхами. Шорохи — не шакалы ли, про которых услышал, что спускаются с гор по ночам и воют? Голоса птиц неведомых, крупные капли звезд, надзирающих с неба над пришельцами незваными...

— о, Космос Кавказа как великая персональность заявлял-сказывал себя и вдвигался в душу, и неприкасаемо, и зовуще... Потом ведь и приманил меня, вослед на отцом, — к походам в его горы... Экскурсия на гору Ахун, откуда в подзорную трубу виден Главный Кавказский хребет в снежном кружеве, божественных сутей-иерархов видение!.. И как высота берется серпантинном вырубленной дороги = вертикаль — спиралью = урок геометрии-механики; а и метафизический: как окольную дорожкой он прямее выходит. То, что потом сформулировалось в неологизм «ЛЖИЗНЬ».

Если по путевке — в раю, у Бога за пазухой человек срок живет, то по курсовке — полдня в раю, а на ночь изгоняемся, мать и сын, в темень — как второго сорта человеки, «люди» по сравнению с барами-господами. Урок социального неравенства, униженности. Хотя по существу-то — богаче: два угодя и модуса вивенди испытывали, в нас входят. Так ведь из бастардов незаконных детей аристократов с простонародьем, — многие творцы многовалентные и много понимающие выходят: Герцен, Николай Федоров... В таком существе из разности потенциалов-субстанций — и энергетика особой напряженности, ток, воля.

А Море?.. Как вода плотная и соленая — держит тело: плавать легче, чем в купальне в пруду в Одоеве... Тут тебе не перила-мости деревянные, а Морской царь волнами да камнями гальки швырнется — и наказывает. И как



С мамой на Черном море. 1937.

Архив семьи Гачевых

накатывается волна ласково пеной на брег — помогает тебе, но ведь тут же откатывается и норовит прихватить и тебя с собой — засосать во глубину морскую!..

Ожоги медуз — купание в августовские ночи, когда сам себя в чешуе светящейся видишь, тело твое русалкою плывет.

Да, на море человек обретает опыт бытия рыбой, существом земноводным, двусубстанциальным, «амфи-бией» — тоже акт Платонова «припоминания» прежних существа-ваний, рождений души. А и по ученой теории эволюции: что «онтогенез повторяет филогенез», т. е. в своем индивидуальном развитии за жизнь особь воспроизводит стадии-фазы своего вида-рода («филы») существ. Из этого уразумения — затем и моя теория «Ускоренного развития литературы» возникла в 26 лет, отпрыск Гегелевой «Феноменологии Духа». <...>

Мама водит меня в оперу и хлопчет об отце

Из детства довоенного — как в театр и оперу водила мать тебя. Посмотрев «Золотой ключик», я повторял-имитировал Буратино: «Я — умненький, благородненький — м-а-а-а-льчик!» А посмотрев «Синюю птицу», напевал, маршируя: «Идем за Синей птицей!..» В Большой театр мама водила — и перед оперой показывала дома: открывала клавиш — и темы и сюжет играла, рассказывала — и еще либретто и текст я читал — так что с толком слушал, хотя и с галерки или с яруса какого... Даже особо внушительно было сверху в громадине зала-храма пребывать... Так вошли в меня «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане», «Князь Игорь», «Царская невеста», «Псковитянка», «Иван Сусанин», «Евгений Онегин»... Я даже петь начал арии Ленского: «Куда, куда...» и «В вашем доме» — и наслаждался и своим голосом, его послушностью, и интонированием.

В конце 30-х декады национального искусства республик СССР в Москве проходили — пышные и пестрые. И мама, которая музыкой народов разных интересовалась, и меня брала с собой и объясняла... Читала она в Консерватории и потом у Гнесиных курсы истории западноевропейской музыки, но и курсы советской музыки и оперы... Так что мой интерес к национальным особенностям в культуре — уже с того мог зародиться и внедриться...

Так же в эту сторону настраивали и павильоны национальных республик, один другого живописнее, на Выставке Достижений народного хозяйства, ВДНХ, что открылась перед Войной и куда интересно было ходить...

В то же время душа была оттянута на Восток, в мерзлоту Колымы, где отец-узник. Мама все время хлопотала о пересмотре дела, ходила, писала заявления, собирала характеристики на отца — и люди давали отзывы: Храпченко, тогда Пред<седатель> комитета по делам искусств, Лебедев-Полянский. И от Коминтерна — ходатайство Георгия Димитрова — письмо к Берии — я сам видел, когда допустили к архивам в конце 80-х. И уже перед Войной

мама пришла с такой формулировкой: «Дело затребовано на пересмотр»... Но тянулось вяло: какой-то Дорон держал у себя, ленивый... Обнадежились и мы, и отцу написали — и он там... И тут — ВОЙНА! <...>

9.30 веч. Робею погружаться в воспоминание 41-го года: ведь это — Война!.. А я каков сейчас? Недостойный человек к святыне этого года прикасаться. Все тут ходят по грибы — и я пошел, но собрал мало: плохо уж глаза видят. И надо было на хорошем месте пастись, а я километры по опушкам прошел — бегло... Ну ладно: хоть по лесу и воздуху прошелся. Потом чистил, по воду ходил, варил — и день ушел. А достоинство свое прикасаться к теме Войны (и Смерти!) вижу в лености и унылости сейчас во мне. Ради того, чтоб я жил, гибли тогда люди — и во мне яркая жизненность — в благодарность! — быть должна, а не раскисание... <...>

Крестьянствование в деревне «Казанка»

21.8.2003. Через «лапти», на ковре-самолете сей детали, пересекаю пространство-время Памяти — и снова оказываюсь в деревне Казанка в Татарии в 1941 году. Как «москвич» и «икуированный» — начинаю вживаться, вращать в жизнь народную и природную, крестьянскую.

Пробуждались в закутке за печкой — от шелеста ухватов и кочерег, какими жар в печи равномерно раскладывают по поду — чтоб потом хлеб печь. От вытаскиваемых чугунов, от звона заслонки на зев печи... Это бабка Настасья уже сновала шустро, с зарей или до света вставши — печь топила и сготовила и людям, и скотине (однопородными существами мы тут со скотиной домашних прирученных животных себя опознали, приблизились, от эгоизма гуманизма поизлечивались, так что надменное речение из Библии: «Уподобися скотом несмысленным...» — не презрительно, а позитивно-любовно стали могли понимать...).

Пшеничную кашу с молоком — часто с утра и вообще тут ели. Сильная еда! Дядя Федя¹, вспоминая детство в Мордовии, как раз на днях говорил:

— Сейчас детям манку дают. А это что? Съесть — и выдристать. А мы пшеничную кашу ели. Сила! Поля проса вокруг — густое, его бабы серпами жали, коса не брала.

Вспомнил, как, занимаясь космосом кочевья, узнал, что маршруты стад принаравливались к местам и стоянкам, где просо сеяли, а потом жали. И что просо хорошо на воспроизводительную способность влияет: зерно — на людей <...> солома — на животных...

А дома, в нашем быту, никак не могу женщинок приучить пшеничную кашу варить: все — картошечку, или гречку или рис, а ведь пшено — самая дешевая стала крупа... Так что сам иногда покупаю — по старой памяти «казанской» — и варю себе...

¹ Федор Артемьевич Быков — сосед Г.Д. Гачева по деревне Новоселки.

А ведь топонимика деревни «Казанка» — может, из первых русских переселений после завоевания Казанского царства? Такое островное. Рядом то русские, то татарские села — в Бугульминском районе, который потом нефтью прославился.

Но тогда еще русский быт и стиль крестьянский, с наложением советским, там держался. Работа на лошадях и вручную — косьба, телег, упряжь. Мало помню тракторов — техники, разве что молотилка с «приводом», веялка. А то все — на лошадях — и я на второе лето шел за плугом или бороной в лаптях. А на место пашни — за несколько километров, скакали наперегонки с такими же подростками — на голом крупе таких же жеребчиков-малолеток (3-х-леток обычно), без седла. И хорошо память тела хранит ощущение животной теплоты снизу — от братского тела животного... И не раз, когда томила жажда, а воды не было, приникал к соскам кобылицы, ожеребившейся — и высасывал сладковато-солонатовую влагу.

Климат там был резко континентальный, здоровый: жар летом, мороз зимой. Речка Зай была благословением летом: неширокая и не глубокая, с омутами иногда, с чистым дном песчаным, со кустами смородины, черемухи по берегам... Еще и лес, грибы...

Но настала зима — пошел я в школу — в соседнее село, что побольше, за километр-полтора. Одноэтажно-бревенчатая школа, как большая изба с комнатами классов — небольших и по месту, и по ученикам, да и учителям. В 6-м классе уже разные предметы и учителя разные их должны вести бы... Но — война! Мужчин забрали... Хорошо помню — Качалова: невысокий, горбун почти, умный, и вел несколько предметов. Но главное — русский язык и литературу (еще и немецкий язык...) — хороший был учитель, и строговатый, и ласковый, с ухмылкой при малых усах. А расписывался в дневнике, ставя отметку, так красиво, что я спагиатствовал модель росписи его, с росчерком, — и вклинил в схему иную начинку — «Гачев» — так и расписываюсь всю жизнь.

С бумагой, тетрадками было скудно — и уписисто и на оборотах писали.

А Качалов — тип русского земского учителя-интеллигента-подвижника, что описан Чеховым... Памятью тебя благодарно, милый! Слышишь ли ТАМ?..

Зимой в ветра и пургу — все равно ходили: в валенках, ушанках и рукавицах, встреч ветрам... В классах тоже одетыми часто сидели.

Как-то я заметил, что самодельными картами в избах играют — и стал из тетради для рисования нарезать и рисовать, копируя колоду. Понравилось над бумагою так пыхтеть, ласкать ее прикосновением линий и красок (чем и доселе занимаюсь — сию страсть утоляя). Брала у меня бабы эти колоды — и молоком платили (или «шанишками» — булками такими). Несколько сделал таких.

Еще и подглядел где-то: как расчерчивают клетками портреты — и так в увеличенном размере перерисовывают. Так с учебников портреты писате-

лей копировал с увеличением. Помню, как корпел так над головой Тургенева, над Некрасовым. <...>

В Бугульме — весна — декабрь 1942

Прошла зима 41-го года в Казанке. А когда весна, маму перевели в Бугульму: на работу замполита в Железнодорожном училище... Проявила себя активно «товарищ Брукова» (как на собраниях в деревне ее называли, мама рассказывала)... Правда, «несовместимость тканей» все ж чувствовалась в деревне между крестьянами и москвичами. Да еще нерусские: Морейнис, Римма Генкина (муз<ыкальные> передачи на радио потом), моя мама — еврейки. Асламазян¹ — армянин... и еще кто?.. Наша хозяйка Настасья-«велосипед» вбила себе в голову, что у нее ягненок подох от черного глаза мамы (у нее — карие) — и мы в деревне переселились в другую избу — к добродушной высокой Матрене Биксиной. Помню, как она маме, когда та меня в чем-то осадила, — сказала: «Пушай мальчонка ест» (или что?).

В Бугульме мы поселились на квартире — нет, тоже в избе, но почище и с комнаткой нам — возле железнодорожной станции. ФЗО было большое. Там и клуб, и столовая. Ходил туда обедать — переступая рельсы, по путям, запах угля и дегтя на шпалах...

Татарин Темергазин с рябоватым лицом запомнился из преподавателей в училище, мама им восхищалась (потом призван и погиб). Еще «фзушник» татарин Шафиков — талантливо, страстно читал «Убей его» Симонова в клубе на вечере. Вдруг из Москвы агитгруппа, в ней Козлов Павел Геннадиевич (потом я у него в училище Гнесиных теорию музыки проходил — в 1956-м), в скетчах выступал: «Укушенный» и проч. Устроился в войну в тылу! Селадон большой...

В Бугульме я оканчивал 6-й класс, читал... По подсказу мамы читал «Войну и мир», долго и вникая, заразившись романом. С мамой обсуждали героев: князя Андрея, Безухова, Пьера. Помню, она рассказывала, как в кружке ее романтических подруг-гимназисток в Минске делились они: кому люб Андрей, кому Пьер. Про князя Андрея мама говорила «сухой огонь» — запало в меня такое приуроченье душ ко стихиям. Потом сам я стал метафизитствовать методом 4-х стихий: «земля», «вода», «воз-дух», «огонь» — на их все переводить и толковать. А что князь Андрей = «сухой огонь», напомнило сейчас Гераклитово речение: «сухая психея — наилучшая». И такова душа князя Андрея, эмоционально сжатая, байроническая, «онегинская», что особенно пленяет романтических дев, — в отличие от души медведя русского Пьера, кто то мирен, сыроземен, сонен, то взрывчат. Недаром гений Толстого его с медведем сопряг в баловстве с Долоховым...

¹ Сергей Захарович Асламазян (1897–1978) — музыкант, виолончелист, преподаватель Московской государственной консерватории.

Забегая вперед, чтоб не забыть: мама меня, когда я Достоевского начал читать — через два года уж в Москве, адресовала к книге Вересаева «Живая жизнь»... Она-то сторону Толстого принимала... На Достоевском для нее авторитетно лежало горьковское клеймо, коммунистической душе неприемлем. Но отец мой, еще в Болгарии, гимназистом, обширные выписки делал из Достоевского, из «Бесов», слова Кириллова, в частности, — про «человеко-бога».

Когда настало лето 1942-го, меня потянуло в деревню Казанка — я стал там работать в колхозе — мне стали начислять трудодни, и на них осенью выдали муки, проса, меду, масла подсолнечного и дали лошадь с телегой — воз дров отвезти в город. Подкормка была нам с мамой.

В колхозе я на разных работах: косил, копнил, стоговал, на граблях конных, на молотилке снопы подавал, солому вилами откидывал... Пристрастился к лошадям — науку запрягать, распрягать: как хомут засупонивать, черезседельник закреплять, — приятно вспоминать слова эти. В страду на уборке — обеды на поле — веселье... А и из дому с узелком выходил на скотный двор (где бригадир наряды давал), а в узелке — бутылка молока и хлеб, яйца, огурцы.

В жару с поля — в речку Зай — на лошадях — и девы деревенские — здоровая красота, молочно белые и краснощекие, с формами!.. Волновали, поддразнивали «москвича», задирали — но я лишь глазами впитывал...

Когда дали мне лошадь на день, чтобы завезти дров к себе в город, я поехал в лес, наложил воз березовых — кубометров несколько, увязал, повез весело по полям, просекам в город. Но там когда начался длинный спуск в котловину, слез, удерживал вожжами лошадь, но в один момент — она понесла!.. Я повис на вожжах, торможу, но она несет, воз вот-вот рассыплется... Она уж волочит меня... И в последний момент я повернул на возвышение вправо от дороги — и там остановились. Это был ужасный момент. И сейчас поджилки трясутся вспомнить...

Перевел дух. Крутизна спуска уже позади — и далее спокойно уже повел, поехал, взбравшись...

Осенью снова в Бугульме, в 7-й класс — уже «возмужавшим» себя чувствовал... Наверное, и осенью этой «Войну и мир» читал...

Нацелились на возвращение в Москву. Но как?.. Мама написала брату. Он тогда важные работы делал для Артиллерийской академии. И вот прислал вызов нам — прямо от ГКО (Государственный комитет обороны), с печатью внушительной. Я приплясывал и напевал: «Кто наш благодетель? — Исаак Семеныч Брук!» Стали собираться в отъезд. И вот — в поезде, плацкарном, не в теплушке!.. Но везде проверки. А в Сасово — просто страху натерпелись: строгий какой-то к чему-то придрался, ссаживать — об этом заговорил... Перепроверяли еще с кем-то... Но — обошлось. Поех-х-али!..

И в декабре 1942 года — прибыли в Москву.

Москва зимой 1942 года

Вернулись мы в квартиру на Выставочный переулок. После ареста отца у нас забрали третью отдельную комнату, там поселились Власенки: старший брат — полярник, на тюленя похожий, а младший — литератор оказался, потом в Литинституте работал.

У нас остались две смежные комнаты. Что пропало, что осталось — не помню. Главное — книги и рояль — на месте... Но — холодыря!

Раздобыли железную печку — «буржуйку» (почему так?), везде щепки, поленья искали. Помню, как Ласкером (они или не уезжали, или раньше вернулись¹) пилили, и он приговаривал: «Сейчас мы эту СУЧКУ распилим!» (сучок — имелся в виду).

Моя школа — 16 — не работала. Напротив на Донской школы №№ 15 и 17, то в одной, то в другой шли уроки (какая отапливалась?..), а весной перевели в 20-ю на Шаболовке — там и закончил 7-й класс.

В этом году где-то вступил в комсомол. И на лето 43-го года школьников и наш класс «мобилизовали» на сельхоз-работы.

«Гедонист... покаянный». Печаль и стыд

22.8.2003. Итак, в фокусе воспоминания сегодня — лето 1943 года. То есть 60 лет сему — назад: целая жизнь среднего человека мужеска пола в России теперь... Так что даровую сверхжизнь проживаешь — и благодари, но и чувствуй себя свободным от долгов и обязательств существования, а в статусе «Ныне отпускаешь...» Или — с тебя «взятки — гладки». Можешь предаваться беспечному вольномыслию. Что, кстати, и делаешь, занявшись Жизнеописанием. То есть вторичным проведением своего жития — под оком ума и сознавания. Ну и — заново вкушая и переживая ситуации и опыты житься-бытья, выпавшего тебе.

Улыбайся. Что и делаю, сидя на солнышке, нагой, под Ларисиной березой. Гедонист... покаянный!.. Это я вспомнил позавчерашнее переживание: раскаяние за обиду жене... Но как и это повинение, страдание ведь! — сумел превратить в блаженство умозрения!

В таком умо-и-душе-настроении — и Жизнеописание пишу, — а и писать должно. Что бы там ни было, и как бы что мучительно было тебе извне, и как ни гадов ты был, — все равно: благодари и радуйся за все то, что случилось, выпало.

Собственно, в таком ключе и пушкинское «Воспоминание» написано:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных — не смываю.

¹ Речь идет о соседях семьи Гачева в доме № 16А по Выставочному переулку — Исидоре Борисовиче Ласкере и Ревекке Ильиничне Бродской.

Но и слезы лия. Пушкин наслаждался, пища гениальное стихотворение. Толстой, цитируя, ошибся эпитетом: «строк ПОСТЫДНЫХ» — и характерно для себя «ошибся»: в узкий план морализма и суждения транспонировав пушкинскую мысль. «Печаль» — мягче, чем «стыд»: примиреннее. «Светлая печаль» — так понята Пушкиным печаль в поэзии Жуковского. Стыд же — узок, жёсток, уколён, как игла... И мне еще предстоит исповедоваться в стыдных моментах своего поведения и помыслов.

На полях совхоза «Ленинские горы» в Раменках

Итак. Лето одна тысяча девятьсот сорок третьего года.

Наш класс — кончили 7-й в 20-й школе — направили на работы на полях совхоза «Ленинские горы». И правильно делала власть: и помощь фронту трудом в тылу, а и подросткам высокое сознание соучастия с отцами и братьями в подвиге защиты страны: инициация и мужание. Но и великолепный опыт труда и жизни на природе — нам, горожанам. Уподобление Крестьянству. Вживание в предков и их стиль существования. Гармонизация. Ну и подкормка: ели там живьем морковку, турнепс, яблоки и проч.

Совхоз «Ленинские горы» — большой, снабжал Москву овощами, разлегся на полях и холмах ближнего Подмосковья — вокруг деревни Раменки — пространство, что затем стало съедено расплзающимся чудовищем мегаполиса: там построили новое здание Московского университета, жилые районы, метро Вернадского и Юго-Западная... А тогда это была мирная сельская местность, прилегающая к Москве, куда и недалеко было добираться. Поля, холмы, речушка — русские просторы, нежный летом пейзаж (не снежный, зимой вьюжный!..) — наслаждение было там работать! Хотя и зной, усталость. Но весело: молодые, вместе, да и кормили на полях, и сами вдосталь рвали вызревающее под руками: право имели! за собой чувствовали...

Прополка сорняков — была главный вид работы: давали задание несколько грядок пройти, а они — длинные! Оседлаешь верхом — и шпаришь, соревнуясь с соседом. Я, как уже работавший крестьянскую работу год назад в Казанке, имел опыт и наставничал. И вообще был активен: и отличник, и комсомолец, с некоторыми (не сильными) амбициями «лидера». Кем-то меня там выбрали — и даже дали ответственное поручение: с ходатайством идти к наркому торговли, чтобы выдали обувь. А там нас, школьников, были сотни. И вот вдвоем с кем-то в один прекрасный день мы отправились не на поле, а в центр Москвы — в здание наркомата торговли — и нас принимал САМ — важный и известный тогда деятель (запомнювал имя... — Любимов¹). В просторный кабинет вошли двое пацанов — и нас, почтительно и улыбаясь, принимали. Выслушали просьбу — и благосклонно. И через несколько дней — пришла партия — туфель? — раздавали.

¹ Речь идет об Александре Васильевиче Любимове (1898–1967), государственном деятеле, в 1937–1948 — министре торговле СССР.

Из соучеников 7 класса двадцатой школы — помню Вадима Курчевского: потом стал известный художник-мультипликатор и несколько лет вел по телевидению программу «Спокойной ночи, малыши!» Обаятельный, красавец с пробивавшимися усиками, он был завидно привлекателен для юниц. Хотя тогда было введено раздельное обучение. И класс наш был мальчиковый, но на полевых работах летом свиделись мальчики и девочки — и в таком нежно-чутком возрасте! Так что и атмосфера брызжущей влюбленности — и такое воспоминание во мне от полевых работ в совхозе «Ленинские горы» летом 1943 года.

В школе № 10 — 8 и 9 классы — в 1943–44 гг.

24.8.2003. <...> Итак, перехожу в 8-й класс. Точнее: переводят нас в сентябре 1943 из школы № 20 в школу № 10, что расположена между Якиманкой и Полянкой, за теремом Французского посольства и за кинотеатром «Авангард» (сейчас он снесен — и там корпус огромный Министерства Внутренних Дел).

Школа № 10 — высокого уровня и учителей и учеников — не то, что школа № 20, что на отшибе, в слободе рабочего района заводов, за Донским монастырем. Эта же — уже ближе к Центру, и более интеллигентная публика там живет. Прочился я в ней 8 и 9 классы. Ходить далековато — за 30 минут надо из дома выходить, чтоб не опоздать. И чтобы и там статус «отличника» обрести и удерживать, надо напрягаться более: чтобы быть равным среди сильных: требования выше...

Тут я употребил формулу вопроса, что мне уже в Университете сосудент Гарипов¹, татарин, задал как загадку: «Что ты выберешь: быть слабым среди сильных — или сильным среди слабых?»... Я, подумав и заглянув в себя, ответил: «Быть сильным среди слабых» — иначе: «первым в деревне, чем вторым в Риме». А Гарипов выбрал наоборот и так объяснил: «оказавшись слабым среди сильных, ты сам подтянешься к их уровню — и станешь сильным». Да, молодец он — так и надо, если по сути и на оптимуме жизнь прожить и познать высшее и делать. Я же таким выбором предпочел Первое — Лучшему, Количеству — Качеству, Кажимости — Истине, Тщеславие-честолюбие — истинной и высшей Мере, жизни по существу... Тут еще гипноз пионерства — быть Данко-вождем-спасителем болотных людей в повести Горького «Старуха Изергиль», кто их вывел ценой своей жертвы на истинный путь...

И я тогда в МГУ самоутверждался, на 2 и 3 курсах — в комсомольской работе: был комсоргом и даже секретарем 3-го курса, — в трении общения, убегая одиночества, а не в серьезном учении...

Но это — потом. А будучи 14 лет в 1943 г., я радовался познаванию высшему: лучшему — и общению с соучениками высокого уровня — таки-

¹ Талмас Максумович *Гарипов* (р. 1928) — лингвист, тюрколог, доктор филологических наук, с 1992 г. — член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан.

ми, как Валентин Янин (затем археолог, академик), Вяч. Вс. Иванов (лингвист, академик ныне)... В Иванове «Коме» я встретил утонченную образованность, блеск и артистизм, в Янине — острый ум и юмор. Тянулся к ним. Я — посередине: не имею блеска, но — тускловат. А и ум — есть, но не остер, не четок и точен, а соскальзывает воображение...

Валентин Янин

Если кого могу назвать «другом детства» — и отрочества (скорее), — это Валя Янин. Мы одноклассники, в параллельных классах школы 16, он — в А, я — в Б. Еще до войны уже в классе 4-м, 5-м сблизились. Мы и жили через дорогу — улицу Донскую, он на 3-м этаже старого высокого дома. У него приветливая семья: отец — военврач (кажется), Лаврентий Павлович, русский народный интеллигент, в очках, мать — Елизавета (Федоровна?)¹ — уютная, округлая, милая... Я любил бывать у них: просторно, книги, граммофон... Валя пластинки ставил — романсы, арии, оперы — хотя нет, еще опер не было, а отдельные номера... Давал мне книги — и к нам заходил, был домашен — и тоже книги брал и слушал музыку, что мама играла и объясняла нам.

Уже с детства в нем страсть коллекционера — книги, марки, но главное — монеты, старина! Нумизматика. Страстно и увлеченно показывал мне старинные монеты и рассказывал о них — и что в них можно прочесть: зеленоватые, стершиеся, а он — Бог знает что и сколько умел в них прочитывать!.. И в квартире их какой-то архивный запах «пыли веков», затхловатый чуть, но вызывающий почтение: традиция! — не то, что у нас все — без году неделя, новое, временщики тут приезжие... Из их семьи и дома — устойчивая русская субстанция исходила, дышала — и сам Валя — такой «чудик»: в эпоху, когда «Время, вперед!», культ современности и обновления, — зарывается в прошлое — как НАСТОЯЩЕЕ подлинное бытие, а к нынешнему некую иронию в улыбке носил.

Чувство юмора в нем — и книжки пародий: Архангельского, Флита читал, запоминал и меня во вкус к сему вводил... Но вообще-то я наивно-лиричен и серьезен в установке и к миру, и книгам-культуре.

Он полноват, округл, с добрым русским лицом и носом не острым и большим, как у меня, и губы полные, а у меня узкие и стиснутые; добродушен он, чуть мешковат, в очках, как Пьер Безухов... Потом вытянулся.

Донская упирается в Донской монастырь. Кажется, Янин меня как-то на кладбище там привел — и там многие аристократические имена... Могила Чаадаева... Потом я полюбил ходить туда в тишину и меланхолическое созерцание.

Среди учеников был Сережа Молочков — сын зав. протокольным отделом Наркомата Иностр<анных> дел. Он проникся ко мне симпатией, —

¹ Отца историка, археолога Валентина Лавреньевича Янина (1929–2020) звали Лаврентий Васильевич, мать — Елизавета Степановна.

и вот чудо: в 1944 г., когда Черчилль приезжал в Москву, он достал пропуска и привел меня в Большой театр на оперу, а в ложе были Сталин и Черчилль! Пацанов пропустили! Такие беспечности — в военное время! Мало ли что? Я ведь — сын репрессированного, «врага народа». Мог бы отмстителем быть!.. Но нет: вполне правоверен и обычен... Аплодировали восторженно!..

Державин — мой первопоэт. Декламация порождает музыку

В 10 школе сильная словесница была — Анна...

Дама тонкая, восторженная к литературе, трепетавшая над текстом, из русских дворян или интеллигентов прежней закалки, похоже. Просто из ее стати и речи, и произношения на нас веяло XIX-м веком, началом XX-го. Зараза высоты и красоты Слова России. Вот и я именно в 8 классе, когда изучали XVIII век, проникся, полюбил «высокий штиль», архаику и славянизмы — и наизусть учил и декламировал — себе, упиваясь энергией словосочетаний — Державина оды: «На смерть князя Мещерского» — «Глагол времен, металла звон...», его антитезы: «Где стол был яств — там гроб стоит!», эпикуреизм «Приглашения к обеду» — «Шекснинска стерлядь золотая...» Державин — моя первая любовь в русской поэзии и вкушать, конзумировать слово, его произнося, лаская во рту и полоща, побудил: мое направление к фило-логии = любви к слову. Так что если Пушкина «старик Державин... заметил... и благословил», то тут я заметил Державина, споткнувшись об него на ровном поле (до того для меня) русской словесности... Ну и от него — моя любовь к архаизмам и славянизмам, и стыкание высокого с низким, «И вечности жерлом пожрется» («Река времен», на стихи эти романс я написал затем в году 1955-м)...

И стал я любить — стихи заучивать и, идя по улицам, про себя произносить... И Жуковского затем — «Теон и Эсхин», «Светлану», «Безмолвное море» — и «Смальгольмский барон» (из В. Скотта — и тоже, балладно-сказовую интонацию его декламируя, спонтанно родил мелодию, как естественное возлетание выразительной речи — из поэзии — в музыку...)

Да, тогда стал прорезаться во мне некий и композиторский талант — и уже импровизировал и записывал.

Пробуждение пола и поэтичность души

Раскупориваться начало мое существо — прыскать в разные стороны — и через разные отверстия: рот, уши, глаза — и фаллос. Да, половое созревание в 14–15 лет стало пробивать меня — поллюциями. Первый ужас — проснуться во влаге — вспоминаю — но и шоковую сласть сего семяизвержения... И стыд и потаенность, и сокровенность — моя тайна ужасная, и затуманенный с поволокой взор, РОМАНТИЗМ отрочески-юношеский: стремление от себя убежать в выспренные миры, видения и воображения, мечтательность, грусть-тоска, меланхолия — весь букет сразу возникает. «Мелан-холия» —

буквально «черная желчь» по-гречески... Так что поэтичность юноши — такой черный источник в роднике имеет... Точнее: влага — белая, но самочувствие себя — черным и грязным, чернь свою, своего состава ощущая и переживая — как вино и грех.

Тогда было раздельное обучение — и наша 10 школа «дружила» с женской в том же районе. Приглашали на вечера — и мы приходили и жались к стенкам, стесняясь... Многие, и я так. Но некоторые — на зависть нам — подходили к сим опасным и манящим существованиям — и говорили, и шутили, и смеялись...

Еще и классы бальных танцев организовывали — и мы ходили: учили «па-де-патенер», «па-д-эспань», «па-де-катр», «краковяк», «венгерку» — ну и «вальс» — такой — простой и «бостон». Но «танго» и «фокстрот», как слишком телесно прижимистые, — нет... Учитель танцев подбадривал преодолеть робость и приглашать... Но когда отваживался перейти зал и подойти к стене, где ОНИ!.. — шел неверным шагом и с затуманенным взором — так что уж и не выбирал, кто понравился, а так, на кого нанесло, — той протягивал руку, закованно исполнял положенные движения — и с облегчением встречал конец музыки — и, отдуваясь, уходил. Не помню упоения — испытывал ли его тогда?..

Еще и затевался совместный спектакль, и выбиралась пьеса, и раздавались роли — и что-то я начинал учить... — но застопорилось...

Ой, подводит память — а ведь так это все было значительно и переживалось!..

Но какой выбор танцев — на чопорной и целомудрой советчине! Восемнадцатый век! Салоны! Даже не мещане во дворянстве, а комсомольцы — свои «беспокойные сердца» — в жеманство и корсет рококо — вырядить!.. Рабы, свергнув бар, — их как идеал — и модель красивой жизни имеют.

Одновременно — и погоны и офицерские звания в Красной = советской армии стали вводить, и с «наркомов» — в «министры».

...НО ПОЛ — ДОНИМАЛ!..

Письма отца с Колымы о моем воспитании и образовании

25.8.2003. Гляжу на ребеночка, сосудик малый: сидит в холле пред телеком и сопровождает меня взглядом чистых горних глаз с сочувствием: час назад были крики-скандал между взрослыми <...>.

Вот сосудик — в малое тельце и нежную душоночку — принимает такие разряды и каскады грубые, скрежеты из мира взрослых, ожестяневших, заматерелых и задубевших в жестоком социуме и трудном быте.

Но ведь и я такой был — распахнутый душой и чистоглазый — тогда, «во время оно», которое вспоминаю. А для отца, которого взяли в мои 8 лет, — и я провожал его таким же взглядом, каким и Вера сейчас меня, — я и остался в его памяти таким же сосудиком с малым тельцем и хрупкой душоночкой:

чем жизнь наполнит сие существование и к чему приведет, что из него выльется в итоге?..

Это я взял письма отца ко мне из лагеря в 1942–45 гг., в которых он слал мне через бесконечные просторы Руси, с Колымы и ее вечной мерзлоты, через Сибирь — волны своих чаяний и надежд, стремясь хоть заочно воспитывать и формировать меня.

Это — отец в тюрьме и лагере, на Голгофе год за годом, — важнейший элемент и страта, слой моего отрочества и юности: распялено его пространство: от Выставочного переулка в Москве — до прииска «Разведчик» за Магаданом... И роль писем отца — в моем образовании и воспитании — не менее важна, чем годы в школе...

Сюда бы все их перепечатать — из «Воспамятования об отцах» в журнале «Дружба народов» 1989. № 7... По ним можно восстановить и многие детали и факты нашей и моей жизни в те годы, что я забыл.

Оказывается, еще в 1943 г. в 7 классе я доклад делал о Сталинградской битве и «событиях в Северной Африке» (из письма 26/VIII–3.X 43), любил декламировать Маяковского и проникался музыкой Баха...

Я восстановил занятия в музыкальной школе, с мамой играли нередко в 4 руки, она много объясняла мне музыки — вдохновляясь, образно. Что-то она прирабатывала в ВОКСе = Всесоюзном Обществе Культурной Связи с границей — тогда образовалось в ходе контактов с союзниками по войне — и я ей помогал: делал вырезки статей о музыке из газет и наклеивал их на ватманские листы.

В 8 классе, когда в школе проходили классицизм, несколько затронули и классицизм во Франции — и я взялся за тему «Дворянство, Духовенство и буржуазия в комедии Мольера “Мещанин во дворянстве”». Увлёкся, читал книги в библиотеке отца — Мочульского, Когана и др., исписал целую общую тетрадь — и понравилось мне объяснять произведения литературы и вообще сам процесс вдумывающегося чтения, толкования, писания. Написал об этом отцу, он обрадовался, что я встаю на его стезю, — и начертил мне целый план-программу изучения мировой литературы от Гомера до Гамсуна. И я увлекся исполнением плана отца, но так завяз в литературе Древней Греции — в мифах, истории, так полюбил — что это сильнее впечаталось в свежую память — и залегло фундаментом в мое литературоведческое образование. А идеал гармонического человека еще в довоенном письме отец в меня вливал: в письме 4/XII, 1938:

«В древние времена, две с половиной тысячи лет тому назад жил замечательный маленький народ — греки, учитель всего человечества. Идеалом воспитания юношества у древних греков считалось гармоническое сочетание физического и духовного начала в человеке. Человек должен быть крепок, здоров, красив и богат духом». И не уставал налегать на это, чтобы я не развивался как головастик, чуждый природе и вкусу жизни...

Его беспокоило, что немецкий язык не входит в число моих любимых предметов — и заразил меня этим делом. По его советам я завел книжечки с выписыванием слов и учил, ходя по улицам и в трамвае, и читал книжки со словариками...

Также и зарядку и стал делать — и в парк напротив на коньках и лыжах ходить. А потом и в походы в горы — вослед отцу.

Чутко уловил он на расстоянии неполноту моей душевной жизни: не пишу о друзьях — нет их, или мало роли играют? Также и к матери мало сочувствен, эгоистичен, интроверт: мало интересуюсь жизнью людей вокруг, а или собой, или книгами...

Лета 1944–45 гг. В совхозе композиторов под Иваново

Но слава Богу, объективный мир вовлекал в себя, не отпускал интроверта потонуть в себе. Были военные сборы в Коврове (или путаю уже со студенческими годами?..) А два лета в совхозе под Иваново, где Союз композиторов устроил дом творчества композиторам, а детей — в пионерлагерь там, где мы и на полевых работах заняты были.

В те лета — 1944–45 — там подкармливались и творили Прокофьев, Шостакович с женой, Кабалевский, Пейко, Мурадели, Алик Муравлев, музыковед Житомирский, Тамара¹ Макарова (жена Хачатуряна — кажется) и еще... С утра расходились по коттеджам с роялями. В глазах — как Прокофьев бодро отшагивал по тропе возле золотистого поля пшеницы — в лесок и свой там домик... Как самый идеальный стиль жизни и работы это мне предстало, стремился его осуществить — и осуществил: в таком жанре — на службу не ходя, а имея работу при себе и от себя дома и на природе, — главное время живота провел: с 1955 г. и поселе...

Во вторую половину дня — сходились композиторы — и играли — в волейбол; помню: Пейко хорошо гасил, Кабалевский высокий, а и Шостакович играл, несколько судорожно выкидывая ладони вверх. Прокофьев — тот в шахматы...

А как-то костер разожгли — и перепрыгивать через него. Мы тоже, ребята, участвовали — легко нам. Подбежал и Шостакович... — но остановился перед. Все же потом разогнался и перепрыгнул...

Вечерами Ваню Мурадели, большой и добродушный грузин, рассказывал под деревом восточные сказки — так артистично, лукаво, с вибрациями голоса, с милым кавказским акцентом — лицо же «кавказской национальности»!..

Что там работали? — пололи, еще что, но не много. Я, как умеющий с лошадьми, что-то отвозил несколько раз в Иваново неподалеку — км. 5–6. Памятно было — как кобылу на случку к племенному жеребцу привели. Ее в

¹ Речь идет о второй жене Арама Хачатуряна, композиторе Нине Владимировне Макаровой.



В пионерлагере Союза композиторов под Иваново. 1944. *Архив семьи Гачевых*

станок (кажется) привели — и вот выбежал мощный и, как увидел, заржал, меж задних ног еще стержень стал вырастать, набухать, вот уже подбегает, размахивая им, прыгает на кобылу в станке, из нее уже сочится от течки-охоты что-то. Он дрожит, подносит, но не попадает — и тогда конюх берет рукою его фаллос — и вдвигает в щель заветную. И вот едет уже он верхом, идет тряска — и наконец замер, подержал — и вынул, умяляющийся, а с него все капает белая влага семени...<...>

Виктор Белый

Был у нас там, ребят, и «лидер». Это Виктор Белый — сын композитора Виктора Аркадьевича Белого, автора «Орленка» и «Смелого пуля боится» и др. песен и сочинений. В конце 20-х и начале 30-х годов мои отец и мать близко с ним и его женой, Верой Россихиной, матерью уже этого Виктора, общались — в круге молодых музыкантов РАПМа (Российской Ассоциации Пролетарских Музыкантов).

Виктор Белый, вроде с 1928 года, на год старше меня и других, как-то сразу стал авторитетом среди нас. Из него энергетика излучалась: холерик, поджар, как молодой волк, умен, ироничен, говорил чуть заикаясь — от энергичного напора, который не поспевал оседать на слова.

Он пел — и романсы, и хулиганские песни. В его интонации помню «Для берегов отчизны дальней» Бородина и «Рыцарский романс» Глинки: «Прости, корабль взмахнул крылом / Зовет труба моей дружины / Иль на щите, иль со щитом / Вернусь к тебе из Палестины».

Но и полускабрзным научил: вроде «Карапет влюбился в красотку Тамару, / Ты, душа любезный, совсем мне под пару...» С припевом: «В Алексан-

дровском саду / Музыка игрался / Тудым-судым разным сортом / Барышень шатался...».

Он пошел на физико-математический факультет, стал ученый доктор наук. На протяжении жизни — важный мне человек, почти друг, как Г. Московский, В. Янин, потом С. Бочаров.

Когда приходил к нему потом, он любил играть Чаконну Баха. Мы выпивали, он курил, рассказывал, как в их КБ делают 100 опытов, хотя уже после нескольких первых ясно, что на этом направлении ничего не выйдет. Но так как деньги выделены, надо реализовать. Но вступил в компартию — и внутри нее боролся за дело и честность. Этический человек. Первая любовь — да и единственная — у него была к Соне Фейнберг, но она стала женой Олега Прокофьева, сына композитора, художника. Виктор страдал, сблизился с Наташей — родилась дочь, он считал долгом жениться — памятуя, как горько его матери, когда В.А. Белый ушел к другой. Однако через несколько лет любовь победила — и снова с Софьей уже Прокофьевой (детская писательница) — их семья напрочно сложилась.

Муки пола

Однако я забежал вперед. Вернусь в 1944-й. Памятна золотая осень этого года. Я вошел во вкус — приходиться в Парк культуры напротив, пересекая Б<ольшую> Калужскую — с книгою и там возле пруда с лебедями и лодками, на скамейке на солнышке послеполуденном читать... «Сагу о Форсайтах» так медлительно прочел. Сам пейзаж моего чтения напоминал «Последнее лето старого Джолиона» — да, долгое бабье лето было тогда...

Но когда спускался вечер, этот же парк начинал меня мучить. Уже приходили туда — не читать, а гулять и любиться... И мне представлялось, в темноте, что под каждым кустом — обнимаются, соединяются: ахи, вдохи слышались, а я отринут от праздника жизни и обречен возвращаться к своим гаммам и книгам...

Но в книгах меня тоже обжигали сцены этого же рода. В «Милом друге», как в карете г-жа Форестье сделала нервное призывное движение ногой — и Дюруа набросился на ее тело... Или в книге «Корсар», что я у Янина взял: как взяли на абордаж судно — и матросы набросились на женщин.

У Ласкерова была домработница Поля, хромая. Она работала в ночную смену на ткацкой фабрике (кажется), утром приходила, что-то им работала, убирала, и ложилась спать на кухне. Часу в четвертом-пятом уже погружалась в сон, я выходил в коридор, прислушивался к ее сопению, подходил к кровати, устраивался на корточках возле и начинал тихонько приподымать одеяло. Оттуда запах теплого женского тела — и я начинал рукой залезать за резинку на чулках на колене, выше, по нежной коже бедра, до волосиков и вот уже влажные края... Дальше не смел... Еле дышал. Не знаю: может, она и чувствовала — и не просыпалась, и даже понимала, что это я тут... Но, может,

ей и приятно было — и она не подавала виду... Но я прислушивался: не идет ли кто по коридору — и ускользал...

Таковы мои первые прикосновения к женскому телу.

Летом 44-го в совхозе композиторов — в белокурую девочку — уже девушку — Тамару, кажется, — я «влюбился»... Но все — на расстоянии. Когда же вернулись в город, я как-то разузнал ее адрес — и написал романтическое письмо — и принес и вложил в ее ящик — это в угловом двухэтажном доме на площади Дзержинского, под которым вход в метро. И под окно ее приходил... В подъезде прятался... Она была старше и смеялась надо мной — конечно...

А в следующее лето — 45-го — я уже сделал попытку «соблазнить». В нашем лагере среди «пионерок» были и композиторские дочки. С одной девушкой мне относительно не нутужно было. Я ей читал стихи, что-то рассказывал... И как-то предложил пойти в лес — красивые пейзажи показать... А я уж — с задней мыслию вел ее. И в каком-то невидном месте — набросился и сразу на место, сдирать трусы. Она — ошарашенная — обороняться — и сильными руками. А я, пока боролся, да еще перед этим исходя ожиданием, — излился в себя — и перестал на нее нападать... Отошел... И — стали возвращаться — на расстоянии друг от друга. Постыд...

Как-то потом я встретил ее в Доме композиторов — она улыбнулась, насмешливо, но не зло — а как бы «заговорщически»: нам есть что вспомнить...

10 веч. Что же это у меня получается? Что мне помнится из жизни? Ведь в те же годы — сколько разных ситуаций: впечатлений, встреч, мыслей и художественных переживаний — с тобой были! А засели сильно и нестираемо — вот таковые, связанные с пропастью между мною и Женщиной, которую перейти все тщусь — и не могу — трансцендировать!.. Труднее, чем Канту — к вещи в себе продрасться из его априоризмов-домашних, присебейных, яйных...

Но так и есть: Фемина, или Вечной Женское — и есть эта метафизическая «вещь в себе» — для нашего мужского «я».

Но если так — то скучно и бедно, монотонно выйдет твое «Жизнеописание»...

Верчу бинокль: то на увеличение, то на уменьшение

26.8.2003. 12 ч. Полдень — но не тот, «знойный, на небе ни облачка», что в «Сне Обломова» (наизусть учили сей пейзаж в 9 классе 10 школы, по высоким требованиям Анны Новицкой, а я и вослед учеников в Брянске мучил), а плаксивый, и сгонял воду с веранды веником и шваброй — босой, как матросы на палубе (еще и этот эпизод будет в жизни)...

Что же это у меня получается? То в микроскоп гляжу (как сейчас: на ситуацию-эмпирию сего дня, его опыты, переживания и уразумения), то в те-

лескоп: надо сейчас повернуться на оси Времени — и воззриться на 60 лет назад — в 1944 год: и в сей удаленности разглядывать факты и объекты. А как их взвидеть — как тоже животрепещущие переживания, какими ведь и они были — тогда?..

Да, как бинокль вертеть: то на увеличение микро (взирая на сейчас), то на умаление макро (год прошедший уложить в несколько картин, страниц).

...Кантилена кларнета звучит (из квинтета Моцарта) — тембр Романтизм! — родной душе моей лад = строй-склад Мировой Психеи: меланхолически-задумчивый — но и прозрачно-чистый («кларус»!). Как раз тембр той СВЕТЛОЙ ПЕЧАЛИ, о которой Пушкин — у Жуковского, что я на днях припоминал. И этот звук кларнета — тоже входит в тот уют и комфорт, с в-ощущения-вживания в который я начал писание сего утра: с благодарностью — за благо-получие: что получил Благо — от... — Бога?.. Иди — просто так, как Тютчев про:

О что за лето?
Ведь это просто волшебство!
И как, за что дано нам это —
Так: ни с того и ни с сего?

И верно: чего Бога тревожить по каждому поводу и мелочи: будто специально о сиюминутном блаженстве думает — его тебе доставить?.. Просто Бытие так сложилось — и в складках его и ты оказался, в сем «измерении Бытия». Но — хочется: как дитяти, чаду — под кровом родительским себя обитающим — чувствовать! И потому выбираем не «Бытие» (тьфу, теплохладное, серое, никакое, нейтральное и среднего рода понятие абстрактное), но — «Бога», кто Отец (Мать), тепл и роден и полов — во Эресе!.. Пусть и частичен: половинен (Отец — Бог или Мать — Природа), а не Целое, но зато к душе приближен. Так что и Единое Целое — мы так, по части, согласны обозначить: как Бог или Матерья, то есть «синекдохой» — сим тропом-метафорой, хотя в строгой логике «часть — за целое» полагается грубой ошибкой («парс про того»).

Я — юноша романтический

Но недаром я РОМАНТИЗМ упомянул (через тембр кларнета, хотя Моцарт — это еще ПРЕромантизм, а не чистый...). Входим в романтический период и настрой в жизни нашего персонажа: ему в 1944–45 гг. — 15–16 лет, он уже не отрок-подросток, но — ЮНОША, как и определяет его авансом отец в письмах. А юноша — это «нечто и туманна даль», что в романтической фигуре Ленского Пушкин слегка иронически отмечал...

Неопределенность! Ее мука и благо! Тот самый страшный АПЕЙРОН — что субстанция и состояние бытия по досократичу Анаксимандру, — и чему

предпочтительнее ПРЕДЕЛ = определенность (в пифагорейских парах: «нечет — чет», «женское — мужское» и т.п.).

Юноша — весь поиск: ищет: истину, смысл жизни — вообще и своей, и что я такое, и чем мне заниматься, что я люблю-выбираю, во что верю... Но все туманно: поле возможностей во все стороны. Юноша — в Туманности, как та, из которой, по небулярной гипотезе образования Вселенной, еще должны выделиться галактики и системы. То есть из НЕЧТО — всякие ЧТО... Так что вполне даже научно-философски четко Пушкин поименовал мир Ленского как «нечто и туманна даль». — А Даль = Всевозможность...

Так и передо мной в те годы — проблема: определиться, кем быть? — встала: Литература или Музыка?.. Гуманитарная сторона Культуры уже по естественному наследованию направления родителей во мне веско действовала и оттеснила естественно-научную и техническую: там мне и по типу ума чуждо и трудно, и в школе предметы с усилием я одолевал.

Сначала Литература, Слово-Логос, особенно после программы изучения мировой литературы, что мне отец прислал, прорисовалась как то направление, что мне по душе и подходит. Но вот в 15–16 лет из меня поперли мелодии, темы, я стал записывать и развивать, импровизировать за роялем... Может быть — ЭТО? Сочинение музыки? — вот мое призвание и талант?.. Это и более ласкательно самолюбю: все ж Творчество из «я», его запечатлевание и внедрение в мир и люд, а не просто узнавание, что другие творили и как мыслили, — как это в изучении литературы, истории, философии...

Хотя настораживало: что темы, мотивы, мелодии ко мне приходили, но на развитие не тянули: дыхание в них коротко, и воля-порох возникнуть, быть! — иссякают быстро — и я их повторяю, останавливаюсь. То есть в них — выражение настроения и состояния, но — не жизнь, способность жить...

И так со мной много лет было — и дразнило сочинительство. Но это — как раз от одиночества и неписываемости в мир и в люд — самозамыкание и мечтание и меланхолия и изливание себя в звуки, а не во встречу с человеком, дружбу, любовь, разговор, общее делание — в мире, в обществе... Нет, музыка дает — уйти куда-то Туда, от себя (или в себя?..)

Потом-то я понял это состояние как то, о котором Лермонтов в «Не верь себе, мечтатель молодой!» Это — не призвание Бога и муз, не талант и гений, но —

То кровь кипит, то сил избыток!

Тут переток в стихи или музыку — неопределенного томления юности...

Тут уже в 10-й класс я перешел, а там поэзия XX века: символизм: Блок, Брюсов... Много Блока стихов заучивал и, идя по улицам, слышал их в себе — как сопровождение дум души. «Соловьиный сад» — всю поэму читал на вечерах в школе — и умучивал, наверное, длиннотою других учеников... Эта

поэзия питала внутренний мир, устремляла, минуя мир объективный, быта и истории, — ТУДА, в нездешнее, зыбкое, в видения; мечтательность и романтизм...

Из музыки — играл я сонату Моцарта до-минор (1 часть), Бетховена — из сонаты № 7 — Ларго, Моцарта концерт ре-минор (1 часть), Баха из «Клавира» прелюдии и фуги — несколько, Грига Лирические пьесы (это раньше), Гаде, Лядова Прелюд и др. Но с техникой все время трудности испытывал, как ни разгонял пальцы этюдами...

10-й класс. 1945–1946

На 10-й класс перешел я из 10-й в другую школу — 645, на Шаболовке. Почему так? Очень сильный — состав учеников в школе № 10. И похоже было, что человек 12 из 30 смогут претендовать на медаль — золотую, серебряную... — по окончании. Я тоже был в их числе. Но все ж боялся учителя математики — такой ироничный Артем Артемович: умница, и был отличник у него, но все ж не «ас». Также и по физике — с напряжением шел в первых... Ну и опасение, что не дадут столько медалей — испугался, смалодушничал — и еще с одним учеником покинул эту славную когорту, «великолепную дюжину» — и перешел в новую школу, где охотно приняли... Как оказалось потом — аттестаты с медалями получили в 10 школе — все претенденты... Но я — дезертировал — и заполучил некоторое презрение со стороны прежних товарищей. Хотя и их от себя я поосвободил — от неслабого соперника...

Школа № 645 расположена за радио-теле-башней на Шаболовке. Смутны мои воспоминания о ней. Учителя тоже хорошие. Математик — крупный мужчина, веселый: игровой климат на его уроках — и легче давалось и усваивалось. Кстати, Анна Новицкая — словесница этой школы, а в 10-й — более пожилая, сгорбленная, тоже интеллигентная, но более рационалистически-четкая, тогда как Анна — более восторженная...

Из соучеников — помню: Юлий Ранинский. Потом архитектор и организатор ансамбля «Рейшина» (?) в Архитектурном институте. Талантливый, общительный, с легкостью стихи писал. Между прочим — на меня — онегинской строфой и в жанре первой главы — целую тетрадь написал... Жаль, не сохранилась...

С ним мы как раз и шли первыми учениками — и по окончании мы двое из класса получили медали — серебряные... У меня в сочинении какой-то знак препинания подкачал.

Как же так? Чем же вспомнить этот год и класс?.. Много вкалывал в учебе. Да еще ходил на частные уроки по фортепиано у учительницы Глеба Аксельрода — в переулок за Крымским мостом: муз-школу уже не тянул — с предметами... По пути от дома и назад и бормотал я стихи — учил Блока и др., а также слова немецкие — по примеру отца и его побуждению в письмах.

Да! Рядом со школой на Даниловской жила кухня моей мамы — Евгения Евгеньевна Розенлит — лет 35, молодая вдова с сынишкой. Поводился туда ходить — в муке пола — с задними мыслями. И томительные вечера проводил — разговоры, с сыном Мишей играл, на фортепиано у ней занимался (она — преподавала ф<ортепиано>но в музшколе где-то)... Но — пустой номер: она дама аппетитная, но нравственная — и хотя я пытался даже обнимать ее и прижимать, — оттолкнула и на «инцест» не пошла...

В этом же году у Тани Шавердян, дочери музыковеда, с кем познакомились в совхозе композиторов летом, — собирались ее соученицы, десятиклассницы тоже, в доме композиторов на Миусской. Меня приглашали. Тут уже на высшем уровне поэзии, культуры, общение — интеллектуалочки! Дымка общей влюбленности — но без сосредоточения на ком-то... Потом некоторых уже в МГУ встречал: на философском, на филологическом.

Голгофа отца на Колыме

Кончилась Война — помню, целую майскую ночь с ребятами по Центру хождение — и на Красной площади... Салюты, фейерверки...

С Колымы письма отца большие приходили — с надеждами на скорое освобождение. Уж Болгария освобождена — и востребованы там люди культуры, коммунисты, — и возвращаются политэмигранты из СССР на родину. Но и тех болгар, кто попали под репрессии, осторожно начинают вытягивать из лагерей. Осенью 1945 года через Москву возвращался с Колымы Коста Стоянов, хирург, кто там рядом с отцом и с ним виделся постоянно. Его вызволили по ходатайству Г. Димитрова. И потом он стал главный хирург Болгарской армии, генерал, а его сын — уже моего поколения, Председатель Союза кинематографистов.

Мы встречались с Костой Стояновым где-то в переулке на Серпуховке — и он обнадежил нас, говорил, что следующим будет — Димитрий Гачев.

Да и срок его кончался: ведь на 8 лет — с февраля 1938 — по февраль 1946 выходило...

Вздрог и вдруг

27.8.2003. Прерву рассказ о Голгофе отца.

Как раз сегодня — канун Успения Богоматери — и об этом слушал проповеди Мечева и С. Булгакова...

...Гляжу в окно: как вздрагивает листик, когда на него капля падает! Милый диалог, беседа их — подглядываю, подслушиваю.

Не дождь, а редкая капель — и лишь то там, то сям в листе Куста (моего священного — перед окном) вздрагивают избранные листики. Не массовидно, как при дожде: толпой, окопом и гуртом... Но индивидуализированны эти их «речи» — характерны, персональны сии вздрог, опадания и потом выпрямления пружинные.

Подсказ в этом: так и ты лови удар: падай — и выпрямайся. Как Ванька-встань-ка! — народный образ деятельного оптимизма.

Ведь и удар всякий — большой и злой — есть ДАР тебе — от Бытия, от Бога — избранность и призыв на ответ.

Просвечивает Небо чрез сеть листов и на экране его белесом особенно эффектно эти избирательные вздрагивания листов.

О, ВЗДРОГ! Ты — как «Вдруг»: Друг и трепет: атом Жизни! Нет, лучше «квант Жизни», а не атом: атом — статичен, мертвен, не нервен. Квант же — энергичен, в нем Воля...

Да: Вздрог — Вдруг, есть «на кого что Бог пошлет» — наш Друг — Бог. Так и я эту каплю ловлю на листы бумаги в «жизнемыслях» своих. Они — «откуда ни возьмись», случайны! Но ведь в ареале Все-Неба, где и Слово-Логос располагается — и суть при-части при Нем — все-Едином.

...Опять гляжу в просвет Неба среди листов Куста. Уже — сухой трепет: теперь как бы сами рассказывают Небу о своей тут жизни «на семи ветрах». Уже не Вода-стихия, но Воз-дух их вызывает на Глагол... — лепетать свое. Трепет — Лепет — детский, невинный... «Будьте — как дети!» — это и словам можно адресовать...

Так разогнал я — тучи хмари, что душу мою обуяли при пробуждении. Первая мысль была: а ведь меланхолично дело Жизнеописания! Мало радостного и красивого вспоминается, а все больше больное и стыдное! — А что же ты хочешь? Шрамы и зарубки — на лице и древе жизни твоей — задержались, саднят, болят-мучат, а моменты счастья, красоты, безмятежности, напитав твое существование, как налетели, так и отлетели — рассеялись. Как «Тучка золотая на груди утеса-великана»...

Волосы позавидовали листьям: выбежал под душ дождя — и благослова каплей его воспринимал, подставляя и лоб-лужайку-полянку, и кочки бугорков, откуда травки-кустики волосинок прорастают... Подбегал под ветви молодых кленов и, как бодая их снизу, стряхивал с блестящих листов их омытость — перенимал на себя эстафету их благословенности. Волшебные палочки-веточки — деточки.

То-то я в пантеизм сегодня с утра вдался? Всеобъемлющее лоно Природы воспринять, привить к душе — и там встретить душу отца. Источилась она из бедного тела его — более полувека назад — и летает, витает — вот и надо мной, касается, напоминает, просит... Из страшного поприща Истории, в которое вступил я вчера, вернувшись к рассказу о Войне и Тюрьме, — вынести в лоно Природы ощутил с утра потребность: «миротворной бездной» (Тютчев) ее обволокуться — и там с примиренной душой отца встретиться.

Ибо он уже получил свое: и муку, и вызволение (из тела и жизни) — чего ж еще бремя злой памяти на крыльях души ТАМ носить?.. Так что он простил

мучителей своих — полагаю и верую, ибо «не ведают, что творят» — и не взывает его душа к отмщению.

Да и во мне этого импульса нет — и не было. В году 1967 я в Коктебеле, на пляже дома творчества писателей оказался рядом с болгариним Атанасовым, что жил в нашем доме на Выставочном и (по предположению мамы) возможно, донес на отца... Но — не нашел в душе злобы к нему и разговаривали мирно и нейтрально.

Второй приговор и кончина отца

Три последних года на Колыме отцу посчастливилось попасть в культбригаду Севвостлага (Северовосточных лагерей): мама послала ему флейту и ноты: он заведовал музыкальной стороной — и инструментовал классику — под случайный состав оркестра там, и барак их был теплее...



Культбригада Севвостлага. Нексикан. Сентябрь 1942. Димитр Гачев — в первом ряду с флейтой. Архив семьи Гачевых

Итак, в 1945 г. уже истекал «законный» срок его заключения — и он уже вылетал душой и планами из ГУЛАГа — в Москву, к семье, в Болгарию — на

родину, где ждала его творческая деятельность по созданию новой, социалистической культуры. И он знал, что о нем ходатайствуют «высокие товарищи»...

И вдруг в августе 1945 в барак культбригады ночью приходят — и БЕРУТ — и в холодную, а потом допросы и допросы с известными методами. И других из культбригады 8–10 человек — расформировали ее — чекисты ГУЛАГа готовили громкий процесс, который и состоялся 24–28 ноября 1945 г. Обвиняли в «связях с японской разведкой», «антисоветских разговорах» и «планах свержения...» Нужно было чекистам Севвостлага подтвердить свою надобность стране... И вот приговор — еще 10 лет и на рудники... Как рассказывали мне уцелевшие: Гачеву издевательски говорили: «Болгарским Луначарским ждуг тебя! Ха-ха! А в шахту — не хошь, еще на 10 лет?»

И этой зимой отец... — отошел, освободился от мук: и лежит где-то в вечной мерзлоте теплокровный болгарин из-под Родоп, где пел Орфей и гулял Пан (как описывал родину 22-летний отец в письме к «Прекрасной незнакомке» в 1925 г. в Антверпене, на французском языке...)

В апреле 1946 г. мы с мамой получили письмо от неизвестного Миши: «...Митя с агитбригадой переехал в Нексикан, где у него с Вами была регулярная переписка до известного времени, а затем, вдруг, оборвалась по неизвестным Вам причинам, и сколько Вы ни писали, все кануло в вечность — и сколько бы Вы ни писали — молчание... Дорогого Вам мужа и отца Дмитрия Ивановича НЕ СТАЛО. С работы привели Митю, и он, болея сердцем, — умер».

Закрылось Будущее, пространство которого представлялось жизнью с освобожденным отцом, где, как он мечтал: мы с мамой играли бы ему в четыре руки симфонии и квартеты, а он, притулившись в уголку, — слушал бы и любимую музыку и в исполнении любимых...

Ужасных подробностей о втором процессе и приговоре мы с мамой тогда не могли знать — и лишь много спустя могли узнать от уцелевших, а я читал 500 страниц того процесса (прислали из архива в Омске) — несколько лет назад, когда либеральный чекист с художественными интересами даже намекал совместно сделать некое произведение или сценарий...

Осиротели мы с мамой. Но отец — как добрый гений сопутствовал мне по жизни. Его письма, где он дал такой мощный импульс, руководствовали мною — как его завет — в поведении, в музыке и литературе, в шкале ценностей: ориентировка на высокую классику — и в то же время, на простоту и народность: гармонию меж Духом и Природой — и в Бытии, и в миропонимании, и в образе жизни.

Ну и сам благородный образ его стоял примером и ориентиром. А то, что не дожил и не доделал свое, — как бы перелило в меня его энергию — дожить и поработать — за двоих — долг и повеление испытывал.

Но и практическую даже мне помощь оказывал в жизнепроехождении. То, что я — сын Димы Гачева, — располагало ко мне многих людей, что были его друзьями и память о нем светлую хранили, и они мне помогали — и в МГУ, и в ИМЛИ, и при изданиях потом: М.Б. Храпченко, И.И. Анисимов, Е.Ф. Книпович, Ю.И. Данилин, И.А. Сац... А в Болгарии — Людмил Стоянов, Марко Марчевский, Кръстю Белев и др. Так что отец, как добрый гений, ангел-хранитель и жизни и духа, не покидал меня. А я как Пенчо Славейков, поэт болгарский, мог бы сказать: «Баща е в мен» = «отец — во мне». И как подумаю о нем и вызову образ, — душу щемит и слезы исторгаются — благие, как семя Духа, светлая печаль — творческая.

В юности еще в Болгарии отца прозвали «Господин Восхищение» — за окрыленную восторженность в отношении к людям, миру, искусству, красоте. Вот и в себе чувствую: присутствует во мне РАЗУМ ВОСХИЩЕННЫЙ — не «возмущенный», а именно — позитивное отношение ко всему. И никогда не мог быть критиком-осудителем, а эстетиком-восхитителем. И даже в «телячий восторг» — склонен впадать — неразумный.

Да, еще в 1945 году по письму отца — пришли мы с мамой к Евгении Федоровне Книпович: она — литературовед и критик, работала в редакции западных классиков в Гослитиздате, которой заведовал Д.И. Гачев, — и написала о нем потом прекрасные воспоминания (см. книгу: Дмитрий Гачев. Статьи. Письма. Воспоминания. М.: Музыка, 1975). Отец обратился к ней с просьбой взять шефство над моим литературным развитием. Мы пришли к ней в квартиру — на Арбате, кажется. Она встретила нас очень ласково, расспрашивала — об отце, меня: что меня интересует и нравится в литературе, и готовно пригласила приходить... Но меня несколько понапугала накрашенная дама, курящая, — и я заробел и не приходил более. Конечно, бука я и дик оказался, не воспитан общаться — в силу одинокого детства и отрочества. Не то, что дети, кто вырастают в стиле дружб семьи с семьей — и там дети-сверстники, хождения в гости, навык свободного обхождения и с взрослыми дядями и тетями. Недостаток воспитанности и светскости во мне и до сих пор отмечает жена.

Поступаю в университет

Итак, в 1946 г. окончил я 645 школу г. Москвы с серебряной медалью, отгуляли мы после выпускного вечера под почти белой ночью июньской Москвы — и надо было поступать... Куда?

Естественно нацелился в Московский Университет — и на филологический факультет. Но на какое отделение — специальность? Обсуждали этот вопрос мы с мамой. Я настраивался или на русское отделение, или на романо-германское: мировую культуру хотел постигать. А мама, выслушав, предложила поступать — на славянское отделение. И такие резоны-доводы приводила. У меня будут трудности анкетные: отец репрессирован, я — «сын



С одноклассниками на выпускном. 1946. Архив семьи Гачевых

врага народа». Но есть и плюс: отец — болгарин, и я записан болгариним в паспорте. А славянство стало привилегированным — после освобождения стран Восточной Европы — и славянское отделение — новое, и туда меня могут легче взять... Ну и Болгария — родина отца, твоя «прародина», зов предков — любовь же к Болгарии во мне посеяна! А там — видно будет. Важно — поступить: в храм МГУ войти...

Убедился я — и подал аттестат на славянское отделение. Было ли собеседование — не помню. Но помню, что зам-декана Василенок¹ — благосклонно со мной говорил... И был я принят.

Август 1946 на Черном море. Инициация меня в мужчину

А на август 1946 года мама меня отправила в пионерлагерь (какие там мы «пионеры»! Ну уж термин такой...) при доме творчества композиторов на Даче Ковалевского под Одессой — на Черном море.

Это в 16 км. от Одессы. Высокий берег, нависший над морем, песчано-галечный пляж нескончаемый, пряно-терпкие запахи колюче южных растений, стрекот цикад, волейбол, купанье... А ведь только кончилась Война — и между берегом и морем мы, ребята, находили кучи патронов — и устраи-

¹ Сергей Иванович *Василенок* (1902–1982), фольклорист, в 1947–1961 г. — доцент кафедры фольклора филологического факультета МГУ.

вали такую забаву: складывали костер, на него набрасывали охапки патронов, отбегали в укрытия — и глазели, как начинали рваться патроны и пули разлетались в разные стороны. Особенно эффектно трассирующие цветные пули прорезали темноту... Это под ночь мы затевали — такие небезопасные шалости...

Но главное событие там и тогда со мною... начинаю рассказ о нем. ЖЕНЩИНА! Ее влекущее таинство, да еще и в мистерии южных ночей, в курортном обнажении тел на пляже, — ошеломляюще волокло меня в эту сторону. Воздух казался напоен сладострастием. И в доме творчества ходят рядом и лежат на пляже и играют в волейбол их божественные стати и формы!.. Пытался я — уже 17-летний и не безобразный, наверное, — как-то заговаривать, знакомиться. Но несветскость и стеснительность — зажимали меня — и не давали пробудиться во мне игривости и легкости, которые — необходимы и во влюбленности и в переходе дальше...

И все же — балерина из Львовского театра оперы и балета — Полина Брегман, лет 25–30 наверное, — как-то легко и с юмором отнеслась ко мне, ну и во мне некое шампанское состояние возникло, в котором и вождление, и влюбленность смешались в коктейль — и я не узнавал себя: стал раскован и остроумен... Она повезла меня в Одессу в оперу, в кафе или ресторан...

И однажды мы пошли вдвоем на берег на ночное купание. А вы знаете: что такое августовская ночь — на Черном море?! Входишь в воду: она фосфоресцирует — и ты покрываешься жемчужной чешуей. Плывешь — и видишь руки свои, как серебристые ласты, взглянешь на тело — как морское животное ты!.. Тело света...

Вышел на берег, а там в халате лежит *она*. И вдруг халат распахнулся — и приглашающе обвились ее руки — и все во мне взыграло — и как-то само собой соскользнул МОЙ — во влажное лоно — что-то теплое и родное!.. И так влекли его всячески осязать — своим щупом, лотом всю глубину — до дна!..

И так — СОВЕРШИЛОСЬ! Дефлорация меня, инициация в мужчину. И в таком космосе. При благословении звезд и стихий... Вошло в память тела — как божественное блаженство. В этом событии-воспоминании и обрел я на всю жизнь магнит, зовущий найти и приникнуть снова...

Я вернулся в палатку, где еще «пионеры» спали... Цикады-светляки в траве — как земляные звездочки — откликались на лучи-зовы небесных...

Отошел я от ребячьих забав с патронами. Когда наступала темнота, мы спускались к морю — и игрища наши разгорались...

Днем мне было стыдно: ребята меня дразнили, — но все же обновленное тело напоило душу и радостью и гордостью...

Мы ездили в Одессу — уже как пара. Она — милая, мне нравилась: простая, не воображала. И точеное тело балерины — но не «шкыдлы» сухощавой, но налитое...

Она уехала раньше — и, помнится, плакала при расставании. И потом сла- ла мне письма из Львова в Москву месяца два... Но я не очень отвечал и пер- рестал... Стыдился ее, похоже: ведь домой, где мама, письма приходили. Но главное: началась студенческая жизнь — и уже влюбленность романтическая в сосудентку — Ноэми Городинскую.

«На слабо!»... со слабостями — поспорить!

28.8.2003. Ишь — дистанция: 1946 — 2003!

А ведь встал с азартом: на спор и на слабо! — в веселой жизненности су- ществовать: узнавать, мыслить, творить — как можно длиньше! И «на сла- бо!» — со слабостями в здравии бороться и малодушие одолевать! Главное — задор в себе с утра чувствую: потягаться Старости — с Молодостью! Чтобы оставшиеся мне ну 5 лет — между 75 и 80 — по насыщенности радостью по- знания и творчества равнялись 5 годам — ну, между 25 и 30!.. Как у Лермон- това, к примеру (он и до 30 не дотянул, бедняга...)

Ведь по количеству лет — одно и то же, и возможность дана, а уж от тебя: воли и цели — зависит качеством высоким наполнить сии года. И принима- ем девиз молодого человека: «Бороться и искать! Найти и не сдаваться!»

С утра в трусах выбежал под дождь и молитву-зарядку делал. Хорошо и бодро! А что боли то там, то сям? — Бог с ними: будем жить с ними как с со- братьями по существованию, членами общества — экипажа моего корабля.

Студент и школьник. Любовь = искусственное с-родство

Итак — я на первом курсе филологического факультета МГУ. Вникаю вос- поминанием — в самочувствие себя тогдашнего в бытии. О, Студент — не Школьник-ученик! Свобода: опека по часам и местам прекратилась над то- бой: доверие твоей самости — выбирать и самоопределяться в пространстве и во времени! Выбирай предметы = формируй-вытесывай себя сам — как статую. Наполняй сосуд свой пищей —из разнообразного меню!

... Как раз в оттенение этой мысли: за стеной — дикий крик матери к доч- ке: «Одевай кофту! Что это такое?!» Симбиоз! Как будто пуповиной еще свя- заны — дитя и родитель — в Семье. В Школе ученик и учитель — уже более от- далены, но лично знают друг друга и ежедневно видят и трутся... А в Инсти- тUTE лектор-профессор курлычет себе свою лекцию за кафедрой — в воздух большой аудитории, безразлично к человечкам тут, а собеседуя с предметом Культуры: с Пушкиным, Интегралом, Силлогизмом, а уж твое дело ловить тоже из воздуха — ключья этих существ — и слагать эти кубики в целое и кар- тину уже в уме и душе своих.

Отчуждение! Дистанция! Конец Фамильярности (= фамильности — се- мейности). Но и — Любовности! Она тоже выпросталась из теплоты и уюта дома-семьи, где выбирать не из кого — кого любить: даны: папа-мама, се- стра, дед... — на простор и случай: с кем столкнешься в броуновом движе-

нии человекочков-атомов: если искра проскочит и спаяет — в «избирательное сродство» (термин химии, подхваченный Гёте в романе одноименном). И таков тип родни, какими становятся муж и жена. Это — не исконное, природное родство (как между родителями и детьми), а ПОЛУ-РОДСТВО: с середины жизни, от встречи и выбора друг друга по влюбленности (или расчету), что «стерпится — слюбится» — то есть наполовину трудовое, искусственное выделанное родство. Трудовая Природа! Синтез и Симбиоз = Со-полагание — в Со-Жизнь.

Так что новое понял про ЛЮБОВЬ: в ней родными становятся, и недаром любовный эпитет, что исторгается из любящих, — «Родной мой», «Родная»! Этот эпитет — даруется, как благо-дар возникшего чувства, сим-патии, — а не ЗА-дан, как в родстве и привязанности-«любви» друг ко другу матери и сосунка ее, отца и сына.

Тут новое и в Эдиповом комплексе мне прозревается. В чем ПЕРВЕРСИЯ сего инцеста? В Превратном направлении Времени! По естественному вектору дитя (сын, дочь) призваны любить рядом или вперед, то есть сверстника, однопоколенное существо (=Настоящее, Современность) и чадо свое рожденное (= Будущее). А тут, когда Сын хочет любить Мать так, как ее любит Отец его = Муж ее, — Будущее — вцепляется в Прошлое, образуя затор и ступор в русле Рода Людского, Природы и Истории: перенаправляя вектор. Тут — вспять! И на пути этом — вклинивается Труд: трудовой акт убийства Отца — совершается. Своевольный.

Итак, Студенчество — космос Любви. Сперва — Влюбленности: атмосфера такая, климат влюбленности всех во всех возникает: все нравятся, шалеешь от возможностей — и предметов, и занятий (что выбрать-изучать, интересоваться), и встреч: дружб, любвей...

Какие предметы мне нравились? Тут от лектора зависело. Античная литература — ее читал Радциг, распевая Гомера... Логика — ее со второго семестра приглашен читать был Асмус, Валентин Фердинандович. Это был некий прорыв в замке марксистско-ленинской философии, где «формальная логика» — презрительно-высокомерно гляделась с высоты диалектической логики, на которую они будто поднялись. А модусы силлогизмов — я распевал на тему «Оды к Радости» из 9-й симфонии Бетховена:

Барбара, Целарент, Дарии, Фериокве,
Цезаре, Каместрес. Фестино, Бароко.

Кстати, в Консерваторию рядом с МГУ способно было ходить, что мы и делали.

Нравилось изучать Латинский язык — звучен, чист, логичен, лапидарен и лаконичен: энергично и кратко способен выражать то, что в русском — многословно и вяло расплывается...

Нейтрально интересны были курсы Теории литературы, что читал четко-рационалистический Поспелов Г.Н., и Введение в языкознание, что читал Чемоданов¹. Курс русского языка читала Галкина-Федорук² — такой народно-русский бабеч, что любила шокировать научным анализом неприличных слов.

Анализ художественного произведения вел Либан³. Я взял тему «Былина о Садко» — и там вдался в анализ метрики былинного стиха — и, используя свои уже музыкальные познания и слух, — обнаружил некие особенности: Либан похвалил, сказав, что я тут в полемике с Жирмунским что-то открыл, и работу забрал к себе.

Из предметов славянского отделения «Славянские древности» интересно читал умный и прокуренный Дитякин⁴. Старо-славянский язык преподавал Чичагов⁵ — хрупкий человек, энтузиаст предмета своего, и когда произносил «Сьмрьть» — складывал губки и как пел... Но тяжковато было учить парадигмы склонений и проч. Вообще лингвистика не привлекала, а литература — да. Что ж: в лингвистике — работать, учить-зубрить надо!.. И Болгарский язык скучновато шел... Бородич⁶ преподавала. В группе были: Ника Глен — будущий главный переводчик с болгарского (в частности, Радичкова), Нина Пономарева — литературовед (с ней и сейчас я в Ин<ститу>те славяноведения рядом). Еще Ира Браиловская, Викснина... Я был единственный мужской персонаж в группе — из человек 8–10.

Это вообще пропорция на факультете: косяками ходили прелестные девушки, одна другой краше — разные, характерные... Но интереснее им были студенты-фронтвики, а не сверстники, как я.

А тогда, в 1946 г., когда всего лишь год, как кончилась Война, уцелевшие фронтвики второй год, как шли в вузы, и их было человек 30–40 на 1-м курсе филфака в этот год — из примерно 200 студентов. На славянском отделении — Стахеев и Тетерин — в польской группе. На русском — Иван Федорович Волков (в будущем декан), Паша Селегей (директор музея Лермонтова в Пятигорске), Май Подключников — потом журналист, корреспондент «Правды» в Берлине. Федя Кондратенко — на искусствоведческом (потом глав-ред изд<ательст>ва «Искусство») и — много.

¹ Николай Сергеевич Чемоданов (1903–1986) — языковед, профессор (в 1849–1950 гг. — декан) филологического факультета МГУ.

² Евдокия Михайловна Галкина-Федорук (1898–1965) — филолог, языковед, исследователь обшцентной лексики.

³ Николай Иванович Либан (1910–2007) — историк русской литературы, педагог, преподаватель филологического факультета МГУ.

⁴ Валентин Тихонович Дитякин (1896–1956) — историк-славист, в 1944–1956 гг. — профессор филологического факультета МГУ.

⁵ Василий Константинович Чичагов (1906–1955) — языковед, педагог, доцент филологического факультета МГУ.

⁶ Вера Владимировна Бородич (1905–1978) — филолог, специалист по старославянскому и церковнославянскому языку, профессор МГУ и Московской духовной академии.

Была общая жизнь у них и из разных поколений — с центром в общезжитии на Стромынке. Но я, как «привилегированный» — москвич, оказался отлучен от естественного пира студенческой жизни. Ну и возникшая сильная любовь — к Ноэми Городинской — тоже отсоединяла от общей хоровой жизни: время после занятий стремился проводить вместе с ней.

Лето 1947 — у родных в Болгарии

7 веч. Нет, сюжет с Первой Любовию отложу — назавтра: душевно трудоемок — и взыскует свежести. Да и она началась только в 1946, а продолжалась и последующие... А пока про лето 1947 года...

Не помню, как что меня надоумило и кто подсказал-посоветовал зайти в МОПР — Международную Организацию Помощи Рабочим (так, кажется) и напомнить о себе как сыне болгарского политэмигранта. А тогда интенсивно устанавливались дружеские связи с освобожденными странами Восточной Европы. А в болгарской секции МОПР знали отца, были его знакомые, включили меня в какой-то список, послали в посольство — а и там посланник знал об отце, роде Гачевых — о дяде моем Георгии, кто был видный революционер. И вот стали готовить мою поездку к родным в Болгарию!

И вот в конце июня или начале июля 1947 на самолете, каком-то специальном, не рейсовом, я, 18-летний пацан, сидел рядом со Стеллой Благоевой (дочь основателя Болг<арской> компартии Димитра Благоева, невысокая, седая, жизнерадостная дама), с Димитром Ганевым (крупный партийный



Среди родных в Болгарии. 1947. Архив семьи Гачевых



С тетей Руской в Софии. 1947.
Архив семьи Гачевых

функционер), еще члены Народного собрания и др.

Самолет небольшой — на ночлег остановился в Бухаресте. Пригласили нас в румынское посольство (кажется, посол летел в этом самолете), — и там трапеза веселая, с цуйкой — впервые пил... Ночлег в апартаментах... Впервые залетел на высокий уровень — важных лиц и комфорта.

Утром — вылет в Софию. Душа трепещет: перелетаем Дунай-реку и начинают вырисовываться священные горы Старой планины: где-то тут Ботев погиб с четой, высадившись на берег Дуная... О, если б отцу такое выпало!.. Слезы заливали глаза (как и сейчас... — или это только сейчас?..).

Не знал я, что у меня столько родни: встречали, ликовали, обнимали, плакали — сестры отца: леля Руска, лет 46, леля Велика, лет 50 тогда, с мужьями, а и дети — сверстницы

мои — три кузины = «первые братовчедки» (чада брата-сестры отца-матери) прелестные Славка (Владислава), Милка, Здравка (поменьше); дочери Руски и свако (дядя = муж тети) Ваню. И Пануш (Панайот) — тоже первый «братовчед», двоюродный брат чуть младший — сын лели Лики. И еще были — не помню... И «вторые братовчеды» отца — его двоюродные и их дети...

Взяли меня жить в семью свако Ваню и лели Руски. У них 5-комнатный апартамент в кооперации 4-этажной — целый этаж. Свако Ваню — профессор-инженер: директор сахарной фабрики в Пловдиве. Отец его — Христо Иванов Ганев — широкий социалист, видный деятель кооперативного движения, а оно в Болгарии очень развито, и до 1944 года, когда в Болгарии начал внедряться социализм советского типа, обюрокращенный, 25% экономики было кооперативной, при личной инициативе снизу. «Социализм с человеческим лицом». И семья Ганевых в этом движении заслуженная. У них постоянная ложа в концертной зале Болгария, кооперативно построенной, вила на курорте Костенец и другое. Интеллигентно-буржуазная семья...

Свако Ваню — просвещенный инженер, учился в Германии — и даже написал затем воспоминания об Эйнштейне, по-немецки точен, педантичен, но и с болгарским юмором, добродушен.

Леля Руска — любимая сестра отца, младшая, певица, кончила Музыкальную академию, но, выйдя замуж, быстро стала матерью — и свои музыкальные амбиции осуществляла уже в дочерях: Славка — пианистка, преподает в Пловдиве, Милка Ганева — меццо-сопрано, выступала с концертами, потом хороший педагог, поставила голос уже своей племяннице — Росице Павловой (дочери Здравки), которая теперь восходящая звезда (ей 29 лет в 2003 г.).

Обласканный, я жил у них (дали комнату), ходил к одним, другим родным. Ведь в поколении отца и было 50 первых братовчедов, двоюродных. В Болгарии — не как у нас, где и родные не знают, — патриархальная атмосфера и общинность: и дальние родные, и земляки (у нас — по городку Брацигово в Родопях) — общаются и в курсе жизней и дел друг друга, и помогают своим-«нашим» — и в карьерах и учебах и т.п. Конечно, в «клановость» и «кумовство» это естественно обращается... Но ведь и теплота в этом: холод мира отчуждения, рационалистической цивилизации, не так чувствуется... Хотя сейчас, на рубеже XX–XXI вв. это быстро рушится, тает: индивидуализм и эгоизм возобладают...

Привыкал к болгарской пище. «Чушки» — перец: и сладкий, и печеный, и острый — маленькие «люти чушки», и фаршируют их — и запах... «Цяла България мирише на чушки!» — одна из первых фраз моего удивления там: «Вся Болгария пахнет перцем». Ну и «кисело мляко» специфической заправки (которую болгары-политэмигранты в СССР, как священный огонь, переносили из дома в дом). Баница, баклава, ну и сирене, помидоры, виноград, вино... Везде реклама: «ХОРЕМАГ» = Хотел (отель), Ресторан, Магазин: «здрава храна — народни цени» = «здоровая пища — народные цены». И действительно: дешево и сытно...

А в политике — митинги, лозунги: «Смертный приговор — Николе Петкову!» — это коммунисты свергли популярного лидера БЗНС — Земледельческого Народного Союза — и ведь повесили!.. — потом реабилитировали и памятник поставили — еще при Живкове — в сквере при церкви «Свети Седмочисленници». В сени дерев напротив памятника Николе Петкову я в последний приезд (летом сего — 2003 года) делал гимнастику, — и у меня какой-то бомж спер сумку (потом нашлась)...

Как студент-болгарист, я, естественно норовил снабдиться книгами. И родные мне давали, но и я, не имея денег, похищал разложенные книги в открытом доступе... Когда же приносил их домой, в семью лели Руски, чтобы оправдать: откуда они? не покупал же! — придумывал неких знакомых, что мне дарили их, будто, — и надписывал: «Гене — от Розы в память о встрече в Софии» — так примерно...

Таков, Фелица, я развратен!..

Повезли меня в Пловдив — там свако Ваню — управляющий акционерной сахарной фабрикой. Там со Славкой и ее уже женихом Христо на велосипедах катались — у них особняк в центре города... И на виллу в Костенец

(там бальнеология, лечебная для костей) — у подножия горы Бел-мекен — снежной вершины в Родопах — и частично на нее поднялись... А вилла — двухэтажный домик с маленькими комнатками, мне в мансарде дали — все беленько, чистенько — и сад и цветы — как в раю, Эдеме пожил. Потом у них эту виллу отобрали. А через 40 лет вернули — в «реституции» — разрушенную и запущенную... По сути-то она весьма маленькая, игрушечная, но мне показалась — чуть ли не дворцом — «эрмитажем»...



Брацигово. 2004. Архив семьи Гачевых

и присутствовала при аресте сына... С морщинисто-слезным лицом она долго сдерживала главный вопрос: «Жив ли Митко?» И я, тупой честный дурак, рассказал «правду»: о полученном письме... Ну что бы сказать неопределенно: ведь возвращались уже некоторые из СССР — и она ловила слухи!..

С моим двоюродным братом Панушем мы ходили на Гачеву ниву — и там собирали орехи с большого орехового дерева, который так и называли «Гачев орех», и отвозили на осле и я верхом усаживался. Еще там было и «Гачево бласто» (болото) и «Гачев язовир» — плотина: род-то разветвленный: у прадеда дядо Гачо — 5 сыновей и 3 дочерей, что народили 50 первых братовчедов!.. И потом все к умалению пошло. Многие в революционеры и в культуру пошли — и перестали размножаться, как вот на примере дяди Георгия и отца: от двоих — один сын...

Но еще сильное впечатление — от встречи там, в Брацигове, со Стоянской Гачевой — женой и соратницей Димитра Михайлова Гачева, кто был тоже революционер, как и дядя Георгий, и руководил Пловдивским военным округом в Сентябрьском восстании 1923, а потом в подполье — был одним из организаторов взрыва в Софии в церкви Святая Неделя — что было покушением на царя Бориса. Тогда он был приговорен к смертной казни, заменили на пожизненное заключение, но в 1932 г. выпущен — и он, образованный адвокат, стал лидером болгарских троцкистов (мизерная партийка) — и после прихода советских войск был посажен в концлагерь в Белене на Дунае.

Но главное — поездка и жизнь в Брацигове — в родовом гнезде, откуда есть-пошли Гачевы... Это в 40 км. к югу от Пловдива — в горы — у подножия Родоп, в предгорьях, на холмах и в котловине на узких улочках кривых под булыжниками — дома, иные — возрожденческой архитектуры. Такова и «Гачевата къща» была, но ее перестроили и сдавали этаж аптеке, а наверху — жила баба Мария — та, милая, что к нам в 1936 году в Москву приехала, жила два года —



Брацигово. У колодца «Васил Петлешков» напротив дома Гачевых. Май 1965.
Димитр Михайлов Гачев (двоюродный дядя Г.Д. Гачева), Георгий Гачев,
Велика Гачева и хозяйка дома Гачевых

Стоянка же — его страстная помощница. Бабушка всячески старалась, чтобы я не встретился с ней — но слух прошел по Брацигово, что сын Митко из Москвы приехал, — и она сама пришла — благо их дом на холме — «баире» в 200-х метрах...

Красивая, умная женщина, она пригласила к себе — и стала «открывать мне глаза» — что такое Сталин: «крьволог» = «кровосос» — и дала прочитать «Завещание Ленина» — и еще троцкистские брошюры с обличениями...

Возвращаюсь. Уношу Брацигово в сердце

29.8.2003. А теперь перенесемся в то роскошное лето 1947 года, когда я приник к болгарским корням своим, к субстанции Пра-Родины отцов, и всем существом смог прочувствовать: что я не без роду-племени человек, но есмь продолжение достойного рода и мира и Духа. Ну и — купался в Любове — ни за что, вроде, — но той, что положена бы отцу и им заработана, а мне — авансом выдается.

Пейзаж Брацигово забрался в сердце. С тех пор так и стоит в душе — нет, забегает колодцем — эта котловина в предгорьях Родоп, сотни домиков под черепицами красноватыми — на виющихся узких улочках — «махаллах», полу-русских, прибалканского стиля поселений. А посреди — колокольня церк-

ви, а неподалеку — колодец-«бунар» — историческое место, где в Апрельском восстании 1976 Василь Петлешков читал «кровавое письмо». И «бунар» этот — прямо напротив Гачева дома. На нем уже потом две памятные мраморные плиты навесили:

«В этом доме рожден народный герой Георгий Ив. Гачев (руководитель <военного> <группы> — София), род. 1895 — убит 1925 г.)»

и

«В этом доме рожден Димитър Ив. Гачев, видный философ и музыковед, пламенный деятель БКП и КПСС: род. 1902 — загинал на Далеком Севере — Колыма, 1945 г.»

И улочка идет — «Братя Гачевы»...

Неказисто Брацигово, беднеет, опадает — еще и оттого, что это — гнездо вылета — соколов Духа, а не прилета индюков на сладкую комфортную жизнь — «животец хубав и заможен»... Перед домами на приступках вдовы, старухи в черном, как птицы кладбищенские, а над ними — плиты такие же памятные: «Здесь рожден... погиб...» — их сын, муж, брат, отец... «Борческо Брацигово» — в десятках таких плит.

Но — все забегая по времени вперед...

Итак — конец августа 1947 года. Возвращаюсь из Болгарии в СССР. Одет в костюм, везу подарок маме, чемодан книг, еду, фрукты. Провожают еще больше, чем встречали.

Еду поездом... В это время уже возвращались военные, офицеры, потому что расформировывались контрольные комиссии. И со мной в купе — лейтенант общительный: угощал, выпивали...

Приключения в Бухаресте

Ехали с пересадкой в Бухаресте (или тот же поезд, или перецепляли вагон?). Нет, потому что с вещами вышли на вокзал. Лейтенант предложил сдать — и погулять... Уже шел вечер, огни большого города — но и закоулки притоны его. Всё таинственно, манит... Посидели где-то в кафе или ресторане — деньги лейтенант швырял — все равно скоро ни к чему...

Ну и — предложил к женщинам пойти... Пришли на темную улочку. У дверей — женщина — приглашает. Он мне: «Иди, я подожду». Захожу — бедная комнатка, темно, и все серо. Женщина не свежая, но ласково со мной: видно, офицер ей объяснил, что — в первый раз... Полупьяный, воткнулся в нее... Наслаждения никакого... Лишь бы освободиться... Да и некогда... Когда кончил, она деловито пригласила к тазу, принесла кувшин с водой, поливала, я обмывал... Вышел. Лейтенант дал ей леи (или заранее дал и тут добавил)... Пошли дальше... Теперь — его очередь... Пришли куда-то, он зашел, я жду... Через некоторое время он вышел и говорит: «Я тут задержусь, а ты дорогу найдешь на вокзал? Иди вот так...» И я пошел... Хмель уже улечучивался — и я соображал. Пришел, лавку нашел — и задремал...

Среди сна — расталкивают: милиционеры, с ними лейтенант... Указывает на меня... И вот увозят меня — в сигуранцу...

Оказывается, лейтенанта — или обокрали, или сам посеял... Обратился — или его подобрали... Рассказал, что был не один, а вместе с таким-то гулял... И вот приехали на вокзал — и повезли разбираться...

На каком-то этаже в серую большую комнату завели... Документы смотрят... Паспорт — советский, весом, наверное, тогда. И билет на поезд... Выпустили даже на двор погулять — в утренних сумерках... Тюремный двор... Часы идут... Даже что-то есть дали, кажется. Я волнуюсь: по расписанию поезд в полдень. Наверное связались с советским консулом... И вот на машине привезли на вокзал, помогли в камере вещи забрать... или сам... Но — вот уже в вагоне... Уф!.. Уже другие пассажиры: лейтенанта нет... Едем!

В Яссах долго стояли, но я уж лишь по перрону ходил... Теперь новый страх — за книги, что везу: досмотр на границе. Но — обошлось — не смотрели...

Вот такие приключения — опыты — на нить моей жизни навязались. Опыты — вознесения, падения — и вызволения... <...>

Перехожу на романо-германское отделение — снова на 1 курс

Итак, вернулся я к сентябрю 1947 года в Москву. Но когда пошел на занятия болгарским языком и проч. на Славянское отделение — так мне скучно показалось — после того, как там я живьем в языке купался и далеко продвинулся, — что загорелся переходить на романо-германское отделение... Но — уже на свой курс не поспевал — надо, значит, снова на 1 курс — с потерей года... Хотя какая это «потеря»? Лишний год учиться в Университете — это же плюс.

Однако при первой попытке в деканате — напоролся на отказ: такой случай не предвиден, ЧП... И тут мы с мамой решили прибегнуть к нашей «палочке-выручалочке» — к Михаилу Борисовичу Храпченко, другу отца, кто тогда, с 1938 по 1948 г. возглавлял Комитет по делам искусств — в ранге наркома. Он поддержал, позвонил кому-то высшему в управлении ВУЗ-ов (кажется — Жигач¹), тот — ректору МГУ Галкину² — и мне в порядке исключения — разрешили... И так я снова на первом курсе, на романо-германском отделении в английской группе. Нас ведет Елизавета Георгиевна Елисеева, а потом Натан³ и Медникова — Эсфирь Максимовна (ишь, вспоминаются

¹ Кузьма Фомич *Жигач* (1906–1964) — химик, в 1945–1949 — начальник отдела научно-исследовательских работ Всесоюзного комитета по делам высшей школы, в 1949–1951 начальник Главного управления университетов СССР, член Коллегии Министерства высшего образования.

² Илья Саввич *Галкин* (1898–1990) — историк, общественный деятель, в 1943–1948 гг. был ректором МГУ.

³ Лидия Николаевна *Натан* (1920–2005) — филолог, сотрудник кафедры английского языка и кафедры германской филологии филологического факультета МГУ.

имена!..). Елисеева — интеллигентная русская, чуть пожилая. Мельникова — более эмансипированная: мужеподобная, курила... Но все хорошо дрессировали нас на язык.

Нозми Городинская — моя первая любовь

Уже год, как загорелась... Когда мы в сентябре 1946 г. встретились на славянском отделении: она — в польской группе, я — в болгарской, общее между нами: родители — музыканты и знали друг друга. Ее отец — Виктор Маркович Городинский, видный музыкальный критик и доверенный от ЦК «на музыкальном фронте», блестящий оратор и широко образованный. Когда я появился в их доме, он вглядывался: «Я знал Вашего отца...» А квартира их — в привилегированном доме на Старо-Конюшенном переулке, «цековская», 5-комнатная... Позднее, в 80-е болгарская журналистка Бригитта Иосифова, жившая в этом же доме с англичанином-переводчиком русской поэзии Питером Темпестом, на вечер к Сергею Хрущеву (сыну Н.С.) нас с женой из гостей у них — в гости к тем прихватила.

...Но что это я все — не о том: вокруг да около: о внешнем? Робею приступать к погребенным чувствам... Еще и жива ли — и где?..



Георгий Гачев. Москва. 1949.
Архив семьи Гачевых



Нозми Городинская. Москва. 1949.
Архив семьи Гачевых

Она — искрилась! Широковатое лицо с широко расставленными черно-карими глазами — под мощным ливнем черных волос, что как парик XVIII века, окутывал лицо и шею. Романтическая, нервическая красота. Выражение лица?.. «Ряд волшебных изменений милого лица» — подвижного, не задерживающегося на одном... Мерцала... В ней то, что называется «божественная игра». И, естественно, привлекала многих. В ее доме — как бы салон сам собой образовался — из притягиваемых ее магнитом — нас, молодых студентов из разных сфер культуры. Блестящий Вадим Гаевский (знаменитый знаток и критик балета) — сыпал парадоксами, как Оскар Уайльд, и она с ходу подхватывала и парировала — пасовала своим кокетливо-ироническим умом. Саша Пятигорский (будущий философ, буддолог — Александр Моисеевич — сейчас в Лондонском университете) рассыпал блестящие идеи, глаза в разные стороны: глаза «двурушнические», диалектически сфокусированные вширь, как и у нашего потом друга общего — Синявского Андрея Донатовича: чтоб сразу видеть разные идеи и образы — такие фокусники в Духе...

Сереза Цельникер — востоковед, Володя Леви — психолог-врач (не Влад<имир> Львович, а иной, постарше...)... И еще Хона какой-то: очень милый и добродушный — с серьезными намерениями, ибо более взрослый... Мы-то все — без серьезных еще намерений, ибо нам по 17–19. Ей — тоже. Она, правда, меня на год и три месяца старше.

Когда несколько собиралось, я стушевывался: не раскован, как Вадим Гаевский, — ему я завидовал: уже тогда блестящий искусствовед, сыпал ассоциациями из разных сфер. Она тоже — выросла ведь в свете высшем людей искусства, не то что я — в одиноком детстве, замкнутый бирюк, невоспитанный на общении...

Чем все же я взял?.. Каждый день вместе на факультете, общие занятия рядом, сидение на лекциях — и флюиды... Я провожал, приходил домой к ней — и мы играли в четыре руки. Она — лучше меня, более продвинута... Сонатину Равеля, помню,



С Ноэми Городинской. 1949.
Архив семьи Гачевых

играла — уже чувствовала модернизм, я же — старомодный, архаический классик. На одном из концертов самодеятельности в Клубе МГУ мы играли Неоконченную симфонию Шуберта, а я еще — свою «Несонату»...

Ну и в консерваторию на концерты часто вместе ходили...

Но все целомудренно, хотя когда касались — искры, ток...

Когда она поцеловала — это событие, и я шел ночь от нее через каменный мост, и стихи даже сочинялись (что у меня редчайше: мелодии — да, рождаются)... Что-то такое там было: «Чуждый я всякому делу...»

С Комой Ивановым вспоминаем школу и университет

30.8.2003. Вчера гуляли с Вяч. Вс. Ивановым («Комой») и копнули конец школы и начало Университета: 1944–46. Но вспомнил, как был раз-другой у меня, а я у него: я играл свои пьесы, он читал стихи.

— Но ты больше дружил с Яниным Валеи.

— Да, мы ж соседи через Донскую — и еще с 4–5 классов дружили.

— Но ты с нами был 8 и 9 классы, на 10-й ушел. Что, испугался Артем Артемыча? — улыбаясь.

— Да, побаивался: математик чудный, но язвительен. Маленький, гномик, голосок скрипучий, когда высмеивал.

— А ведь когда наш класс в 1946 г. собирался отметить 20 лет выпуска (это Эдик Тадевосян собрал нас), он еще был жив. И как раз тогда дело Синявского-Даниэля шло, он ругал власти. Да и в те годы внутренний диссидент был... Вообще учителя сильные были. Словесница — пожилая, из прежних интеллигентов или дворян, в 10 классе читала нам про символизм — неопубликованное.

Вспоминали соучеников. Сергей Молочков — из дома Мининдела. Его тоже на какой-то элитарный спектакль водил. Еще Павлов — из того же дома сын... Этот — потоньше...

— Ну да: длинный, вытянутый в Дух, долихоцефал, а тот — бразицефал, короткоголов, практичен-житейск.

— Еще Дробот — типичный отличник: он и Янин получили золотые медали, а мы прочие — серебряные.

В Университет он тоже в 1946 г. поступил, но со второго семестра.

— Болел, занимался дома, и на зимнюю сессию пришел с палочкой. Павлик Гринцер пошутил: это антураж или — по-настоящему? Он общителен и нас соединил: Топорова, Цельникера еще, всего 7 человек, и мы со второго курса созвали группу изучающих санскрит — у Петерсона. Вообще повезло с учителями — в лингвистике: еще Петр Саввич Кузнецов, Ал<ексан>др Ив<а>нович Смирницкий — англист великолепный. Я же на романо-германском отделении. Там Тася Елизаренкова — и через нее с Вовой (Топоровым) сдружился... Он — на русском отделении... А что там в студенческой общей жизни тогда — не очень помню, мы — в стороне. Тогда много фронтовиков было —

и политики. И из молодых — Лебедев, в комсомоле активничал... Потом он книгу о Чаадаеве написал...

— Да, мудро вы — в лингвистику устремились — дело чистое и честное, не то что литературоведение — тогда идеологией запакощенное... Да и учителя тут похуже, советчиной подпорченные: Самарин, Белкин, Виппер... Правда, Пинский — его спецкурс о Шекспире слушал.

— Меня Самарин Р.М. — он ко мне хорошо относился, — перетягивал в литературу и что-то написал ему, но — нет, в лингвистику...

— Да, из нее во все стороны выход — и в философию, культурологию, религию — во всю гуманитарность...

— Да и в математику — язык: математическая лингвистика...

— Да, ты много в ту сторону сделал... А с Сашей Пятигорским как пересякся?

— А тоже через Тасю Елизаренкову: они же востоковеды...

— А я через Ноэми Городинскую: ее круг...

— Да, помню ее — она где?..

— Потом за шведа замуж вышла — и уехала... А с Пятигорским я в 64-м году ездил в Тарту — и ваш круг почувствовал: Лотман, [1 нрзб.], Уко Мазинг, Мяль... У меня тогда как раз рассыпали набор книги в изд<ательст>ве «Искусство» — «Творчество в жизни и искусство»: Хрущев пошел в Манеж, книгу Турбина клеймили... И Саша так хитро мне объяснял: «Ты пишешь так, что и ИМ понятно. А мы — такой язык выработали, что от них отскакивает: «система Р» (это — Религия), «элемент ку» и т.п. — вот и можем...

— Ну и раскусили потом и стеснять стали.

— Но вы уж окрепли...

Мы гуляли туда-сюда по аллее. Он — широкий, раскачиваясь — его походка, полноват — рубашка выступает из штанов. Приятно видеть друг друга — его кудлатая голова — большого вечного ребенка. Только что на своей даче давал интервью — про Ираклия Андронникова вспоминал. Он же — сосуд памяти многих: дача его отца — соседняя с Пастернаком — и тот уже отроком его знал и был ему молодой друг и покровительствовал его стихам. Да и весь космос Переделкина и кто туда приезжал... И его растерзывают на воспоминания — и он сам охотно и тщеславно — рассказывает о своих встречах и разговорах... Я его призвал тоже писать свое Жизнеописание... Он улыбнулся: хорошо бы!

— Ты же сам — интересен: самопознание, как Бердяев...

Но ему — трудно будет: слишком много общался и в узловых моментах и скандалах в среде писателей сведущ и участвовал — напр<имер>, поддерживал Пастернака в истории с Премией Нобелевской — и много... Так что «я» его рассеется — отсосется от самовникания: в каждый момент его пути выплывает кто-то другой выдающийся, кем он мечен...

Он уж несколько лет — в Америке с женой, преподает в Лос-Анжелесе, сюда лишь на лето приезжает — и тут все в город приходится — лекции, ста-

тьи, знаменит, академик, востребован... Говорит, что вернулся бы — но там — врачи, лечение, а тут?.. Так все трудно...

Я тоже в утешение ему о своих недугах рассказал: одноглаз, однорук. Он: что ж, чем-то платить надо...

— Да, я так и понимаю: откупная Судьбе — еще «малой кровию»...

Об Америке спросил я: после 2001 г., теракта в Нью-Йорке — не стала ли другой: консолидировалась в нацию: патриотизм?..

— Нет, такая же. Патриотизм был сильнее — в 1-ю Иракскую войну.

— А страны Европы — не вспомнят ли о своем культурном первородстве — и не оттолкнутся от Америки — в самую?

— Нет, сейчас — проблема: Север — Юг.

— Да, ведь белолицая цивилизация на исходе — желтеют и чернеют.

— Да, в США уж большинство не белых...

— А не передается ли им стиль — эстафета Американизма, заквас «янки», «яппи»?..

— Нет, они другие — и по быту и обычаю.

Про Россию — он оптимистичен: вписывается ведь — в мир...

— Но — не рожают! На чем держаться стране и языку, культуре?..

— Да ведь везде так. Вообще мир — одинаков, те же проблемы. А Россию вывезет, как и в прежни времена вывозило...

— Да ведь вывозило — крестьянство, пока было: плодилось и кормило и грудью защищало. А сейчас — атомарные горожане-люмпены...

Но он деревни не чувствует: всю жизнь в культурной среде — и эта страта однородна в мире — так что ему в общем всё в мире одинаково становится...

Расстались у ворот его дачи — не пригласил: к нему уже какие-то дамы-гости вход или — к нему, к жене его — фотографу Светлане, я ж в светский их круг не вхож.

Возможные переигрыши линии жизни

2 ч. Как на всяком крупном (а и мелком) повороте линии жизни — ПЕРЕИГРЫШИ возможные, при оглядывании назад — проступают.

Вернись отец с Колымы, мы бы, наверное, переехали жить в Болгарию — и стал бы я уже балканским мыслителем, как Тончо Жечев, — и истрепался бы в разговорах застольных, а не писал столько...

Или вон Нозми: несколько же лет развивалась любовь — и на нас смотрели как на Ромео и Джульетту и видели в нас естественную бы супружескую пару... И могло бы стать так. Тогда не было бы ни Светланы: не возникли бы жить — Настя, Лариса, Верушка...

Но есть на это ответ: «Не Судьба», значит. Споткнулся об него, когда стал надписывать заголовок: «линии Судьбы» — собирался, но осекся: Судьба ведь — непреложность. Так что как жизнь сложилась и шла — это нить-линия Судьбы: что суждено-сужено: каждый шаг и извив. А Жизнь — свободнее, не

линейна, окольна, любит и податлива взбрыкам Случая = СЛУЧКИ-соития с встреченным...

Но, с другой стороны, масштаб дистанции при припоминании хода Жизни и предположение о переигрышах — остужает горячность и чувствительность нынешних: сейчасных трений — с женой, дочерьми... Да и кто они тебе? Случайно взялись... Наваждение: как налетели откуда ни возьмись, — так и отлетят —... или ты от них... Так что не переживай всерьез, но — игрово! Отмахни, сдуй — как налет, мираж, призрак... И во излечение — окутай себя, приблизь к душе-сердцу — то, что «было», но возможным «есть сейчас, налицо» — предстать бы могло — и с ним тебе дело и разборки иметь...

Но и — еще с другой стороны, третьей: так отстранив нынешнее, — милым его видишь и благодарен становишься, что оно тебе как дар Божий привалило-слетело...

Вот уже и в технику жизненаслажденчества вклад: приблизь к душе идеализованный вариант своего возможного будущего (то есть: сейчас-бытия), отсекаешь им как ножом — эмпирические бахромы сиюминутных трений и неприятностей, — и выпрастываешь чистую сущность нынешнего — главную и прекрасную, отчего оно право получило от Судьбы и от Бога — случиться, совершиться — с тобою. И готов встать в молитвенную позу — и в слезах благодарить за Божий дар и удачу... — именно таковой Истины=естины твоего бытия.

Итак, масштаб дистанции (в 60–50 лет) становится тем ножом-скальпелем, что срезает клочья и некрасивую бахрому эмпирии мелочей жизни:

Сотри случайные черты.

И ты увидишь: мир — прекрасен!

Или — операцию Абстракции = Обстругивания так производишь или — Отчуждения = отдаления — чтоб видеть из подальше — суть:

Большое видится — на расстоянии:

Лицом к лицу — лица не увидать —

и Личности — вот этого, раздражающего тебя соседа по существованию — «жены», «дочки», «внучки»... Взвидишь их — как Души бессмертные, Психеи, из Всебытия на космодром-площадку вашей семейки слетевшиеся. И — восценишь и пуще возлюбишь. Ибо Любовь — однажды!

Стоп! Зарапортовался! Как же «Любовь — однажды»? Ведь ты ж как раз про Первую Любовь рассказываешь. Или она не была Любовь? — Была — Так что же тебя: магнит красного словца потянул, за язык, ради коего не только отца, но и Истины не пожалеешь?

Да, четыре любви в жизни имел — и все они — разные, и как бы ипостаси Любви как Абсолюта — были... но ведь и Абсолюту Бога — *растроиться* надо: предстать Святым семейством, во ипостасях Троицы...

И таким образом — ты, вот такой, как есть сейчас, в сей миг, — есть цель, игла, острием ведущая нить твоей Судьбы, тот клин, в который сошлось все твое прежнее существование, его мириады событий и шагов и дум и чувств.

Так что — чувствуй! Ответственность — за то, куда двинешься, что подумашь!..

Нет, прочь Ответственность! Она ж цепенит, неСвобода. И — неприятность. Устрашает, линеит, сушит Блаженство. А ты ж = НАСЛАЖДЕНЕЦ — а не Деятель и Борец — так же свое Кредо исповедал, самообъясняясь недавно...

Стыдился онанизма, а это не грех с современной точки

31.08.2003. Вчера Карякина мы благодарно принимали: он поддержал Отзывом — какое-то Федоровское предприятие. <...>

<...> Призывал я Карякина писать Жизнеописание. Он — трудно без приукрашивания: о плохом и стыдном — смело писать, а кто может? Тут Св.: «Гачев как раз может — не умалчивает и исследует стыдное и дурное...»

— Но вон я: всю жизнь как главного греха стыдился онанизма — того, что никак и грехом не считается, а естественно и допустимо и этикой, и медицинской нашего цивилизованного общества. Так что ломился в двери, что давно открыты. И дурак — оказываюсь.

— Ну, оттого, что оценки меняются — Св. «успокоила», — зло и грехи не перестают быть... <...>

Однако и смешно, но и горьковато мне стало: вот я только начинаю проследивать свою жизнь. А в ней главный завод и импульс был — осилить этот грех, что угнетал меня и унижал в чувстве собственного достоинства, и прорваться к живой женщине = их миража — к реальности, настоящести... И вот — напрасно я придавал так много значения этому: просто по необразованности и варварству-пещерности. А коли бы понимал, что это — не срамно и не стыдно, — поднялся бы на более высокий уровень — борений со злом в мире и себе, — и вообще, на более высокие сюжеты!.. А ты — как гириями удерживался всё на этом, убогом по проблемности уровне.

Так что — и досадно мне в итоге: бутафорского врага старался побороть!..

Ну и Жизнеописанию моему вред нанес: сразу ключ-отмычку дал и лишил интриги, детективного разгадывания своего секрета. Разжал пружину...

Так что в узких понятиях я жил и оценивал и суждения в мышлении и о прочих предметах — выносил. Так что и умность этих моих мыслей и «жизнемыслей» — под вопросом. <...>

Как вспоминают Набоков и Бердяев

Читал вчера Набокова «Память, говори!» — себе в научение: как писать воспоминания. И — удушился пряной фактурой деталей...

Открыл Бердяева — у него, напротив: нет чувственных деталей, а лишь идеи и понятия — и тоже монотонь. Но это — свежее, прозрачнее — мне. А тот — просто удушает в душегубке вещественности и запахов: в эстетике и сенситивности. Мысли тут не продраться — воздуху. Мало пористы вещи и ткани и лепестки в его передаче-описании. Много вида и тела — мало дыхания. А мышление = дыхание, не даром Дух и ДЫХ однокоренны.

А в повести «Прозрачные вещи» как вселяется пожилой в номер гостиницы, где бывал прежде — и занавеси и шторы, диваны и кожа и запахи — до тошноты прописаны в деталях... Зачем они мне?.. Наслаждается своей способностью восписать, схватить сачком слова — бабочек, телесности... И, удушаясь, от противного — уразумеваешь, что слово все же — для мысли, есть Слово-Логос, а не чтоб скребсти-разглаживать ворсинки и бахрому скартертей и покрывал и пятнышки на стеклах смывать нам в лоханку головы тряпочкой умелого слова...

Нет! Прочь — рефлексию над методой Жизнеописания! К делу... к дуэли Мысли с Жизнью. «Вперед, вперед, моя история!»

1947 год. Снова на 1 курсе — и с Ноэми

Когда я, приехав из Болгарии, перешел осенью 1947 г. со славянского на романо-германское отделение, — Ноэми потянулась за мной и с помощью связей отца — перешла, и мы стали совсем вместе: в одной группе английского языка, сидели рядышком — и флюиды и трения-касания взаимопроницающие, и взоры и звуки-голоса-интонации нас сближали; сращивали — эротическим облаком... Но не конденсировались и не концентрировались — в сторону гениталий: она целомудренно удерживала, а я не смел был... Но теперь восцениваю — именно Эрос сей всеобъемлющий, а не точно-прицельный. Это благоухание романтической влюбленности. Оно окрашивало всю округу нас и усиливало чувствительность — и к музыке, и к поэзии и природе... Спасибо!..

В английской группе мы, как пришедшие позже и уже парой, так и держались и оказались особняком. Но и «контингент» студентов иной: не простяки, в общем, как были на славянском отделении, а более светские из богатых семей и свою жизнь ведущие... Девушки — модно одетые, один мальчик — Саша Погодин — потом журналист, что еще и шведским языком стал заниматься — и Ноэми тоже потом.

Сюжет с комсомолом

В тот год я взвидел — интересность комсомольской жизни на курсе — собираются, обсуждают, «тусуются» что-то. А мне всю жизнь не хватало общения, а все в себе да в культуре. А вот — живут же люди! Дружат, в театры, походы ходят, самодеятельность!.. Ну романтика советская — а она — есть! — тоже проникала, заражала. А в эти годы — НЕОромантика, присоединяв-

шаяся к романтике Гражданской войны, строек 30-х. А собрания — с «персональными делами» — как эрзац политической активности, что потребна молодым....

Да ведь и свежо предание: в 1948 — 30-летие Комсомола справлялось. <...>

В те годы Советская цивилизация была в своем восхождении. Мощный импульс Революции, пятилеток, наконец, триумф Победы в Великой Отечественной Войне... Было чем заполнить свято место ИДЕАЛОВ в душах молодых, что взыскуют такого — Романтики, Энтузиазма, Героики — и еще не кривят рожу в насмешке скептицизма и критицизма.

А что до репрессий 30-х годов и ГУЛАГа, так это было умело задернуто шторами — от массы простых людей и даже интеллигентов, и даже от самих пострадавших... Ведь вот моя семья, отец, я — жертвы этого — и пострадала... Но все равно — юность отмахивается от печального...

А я-то? Ведь прочитал Завещание Ленина в Болгарии и такие разоблачения Сталина и что делается у нас, — от лели Стоянки узнал... И маме рассказал. И были у нас многочасовые ночные споры, в которых она меня обращала в правильную веру. Но в то же время — от отца не отречься, но говорить, что произошла ошибка — и верю, что будет оправдан...

А комсомольские собрания были — как маленькие парламенты: выдвигались деловые предложения, развивалось ораторство. Были лидеры, златоусты, организаторы... Зам. секретаря вузкома Мулкиджанян — заслушаешься! Стахеев — четкий ум, на факультете. А у нас на курсе — Ремир Григоренко — имел обаяние и магнетизм — привлекать к себе и сплачивать — когорту сподвижников — в комсомольском бюро... Интересно, что там таинственно заседали, планировали, решали — и тянуло попасть в разряд посвященных.

Захватывающи были «персональные дела», на которых принародно разоблачали кого-то — какого-нибудь бедолагу. Такие коллективные растерзания — особенно за «моральное разложение». Тут уж затаив дыхание, слушали обвинения, комсомолки-девы — как вакханки набрасывались с превращенной страстью — в речах. И так на растерзании жертвы сплачивался коллектив — истых, отлучая козла отпущения... Да, и политика, и театр — была комсомольская жизнь в те годы.

Помню, на милого Ваню Волкова — фронтовик, красив, виноват ли, что девушки и женщины его любили? — так нет же, прорабатывали и каких-то строгачей вкатывали! Помню: подошел к нему с дружеским сочувствием, ведь вместе летом в колхозе в Красновидове работали — и он был веселым комсоргом... Потом он — декан филфака.

Или Виталий Костомаров: вроде девушка на него пожаловалась, да плюс: высказал что-то ироническое о пьесе Сурова, которую Сталинской премии удостоили: насчет художественности... Настучал кто-то. А особый раж и демократический азарт был в том, что отец его был директором Института Маркса-Энгельса: такой бонза! Сам Мулкиджанян приходил на собрание

курса от Вузкома урезонивать распалившихся... А ведь этот тогда студент затем многолетний директор Института русского языка!..

Да, идеологически крутые времена наступали. Август 1946 — Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» — жертвы чего Ахматова и Зощенко. В 47 г. — что-то о кинофильме «Большая жизнь», в 1948 г. — катком по музыке... Виктор Маркович Городинский, отец Ноэми, кто был приглашен в ЦК на «историческое заседание», вернувшись, дома рассказывал с восхищением, как Жданов подходил к роялю — и наигрывал что-то, иллюстрировал свои доводы...

Ну и в 1949 — кампания против «космополитов» началась — и у нас на факультете пострадали Л.Е. Пинский и А.А. Белкин...

Тьфу ты — это вспоминать!.. Но все же как-то стороной это обходило... Или — занятый учебой и жизнью личной и комсомольской тусовкой — куда-то на периферию сознания ссылал таковые неприятные раздражители... А выражая молодой оптимизм, излил я его в «Студенческой песне» на стихи Василия Кулемина. Ее напечатали на последней странице газеты «Московский университет» в номере 21 декабря 1949 г. — посвященном 70-летию Сталина... Сочинена-то безотносительно к сему, раньше, но вот с нотами ее напечатали в этот день. Слова такие:

В стране, где блещут ласковые зори,
Свободно мы и радостно живем.
В хорошем и душевном разговоре,
Друзья, сегодня вечер проведем!

Это — куплет. А затем припев:

В Москве иль на полюсе где-то
Мы выполним долг до конца!
Мы молоды, и мы — студенты,
Для Родины наши сердца!

И еще 2 куплета.

Сереза Бочаров, с кем я учился на этом курсе, расслышал в мотиве на стих «В хорошем и душевном разговоре» фигуру из 5-го концерта для ф<ортепиано> с оркестром Бетховена (2-я побочная партия). Забавный «плагиат» — невольный...

Я — секретарь курсового бюро ВЛКСМ в 1949–50

1.9.2003. <...> На 2-м курсе меня выбрали комсоргом нашей английской — и Эми вступила в комсомол — и так простодушно говорила, что под моим

влиянием и как благодарна и ей новое открылось: общая жизнь... Где-то в шкафу сохранилась тетрадь с протоколом отчетного собрания за 1948 год, где климат душ проступает... Да, энтузиазм новообращенных в комсомольскую жизнь — сродни новокрещенцам, баптистам — в общем, нечто религиозно-церковное по сути — в такой вот современной идеолого-политической одежде — и бытовой, в языке эпохи. Как и демонстрации советские — как крестные ходы с хоругвями, а парт- и комс-собрания с «чистками» и критикой-самокритикой и персональными делами — как в религиозных сектах «проработки» согрешивших братьев и сестер.

А на 3-м курсе меня выбрали секретарем курсового бюро ВЛКСМ — это уж — фигура, как епископ епархии целой — на курсе из 230 — наверное, 180 комсомольцев — ну и принимали еще: одна из задач.



Секретарь курсового бюро ВЛКСМ III курса филологического факультета дает «руководящие указания» комсору искусствovedческого отделения Н. Черновой. 1950.
Архив семьи Гачевых

Перед тем, как меня рекомендовать себе на смену — Ремир Григоренко, кто «шел на повышение» — агитсектором в факультетское бюро, — меня спросил: а как я отношусь к отцу, кто репрессирован как «враг народа»? Я ответил, что — произошла трагическая ошибка — бывают тоже... Но все же — «оказали доверие».

А курсовое бюро — это не шутка: много времени и нервов съедала. Там человек 7–9. Еще агит-сектор, орг-сектор (Лена Лунина была), учебный, культмассовый, физкультурный... Их «направлять», проверять, да отчеты комсorgh групп-отделений, а их — 11–13 — по специальностям: несколько групп русского отделения, логики и психологии (к ней я как-то прибилсь — там простые и сердечные девушки: и дружные, такой очаг, где и меня приняли, «индивидуалиста», жалея неприкаянного...), классики, восточники, романо-германцы...

Впервые сутки перезаполнены — поздно вечерами засиживались в бюро — что-то обсуждали, курили — в общем «жизнь кипела» — ну и, конечно, воображали себя нужными деятелями, хотя «шумим, братцы, шумим!» — и такой оттенок русско-советского «кипенья в действии пустом» — вполне тут присутствовал. Бутафорская активность... И жаль, что хуже учился из-за этого, не так «грыз науку», как следовало бы.

Правда, стал на своем 2-м ходить на французский язык в основную группу 1-го курса — вместе с Топоровым, Гринцером, Цельникером — и все ж заложил хорошие основы. А на 3-м курсе увлекся писать курсовую работу «Эстетика Шелли — эстетика революционного романтизма» (по его «Защите поэзии») — и так вошел во вкус сидеть над книгами в Горьковской библиотеке: за столом, под лампой... — такой высокий покой — после суеты и шушеры комсомольских заседаний! Вот бы так препровождать студенческие годы! И — расписался — и запустил комс-работу в середине года: что мне потом «инкриминировали»...

Ну и окунувшись в среду дружных комсомолок, простых, русских, — стал отсоединяться душой — от Эми Городинской. Она стала мне казаться слишком рафинированной, интеллигентской, светской, а мне бы — простую! русскую! как и сам стремился стать «как все», избавиться от интеллигентщины...

Она же, напротив, все пуще привязывалась ко мне — и даже отдаться готова... Мы ездили в лес в Жаворонки — и там на лужайке — она разделася донага в пышности ослепительного тела — и вот — бери! И — о, постыд! — фиаско! То ли излился прежде времени, от перенапряжений подготовки, то ли — не слушался, не вставал...

Это было, наверное, осенью 1949, в «бабье лето»... Но все равно — пораненная любовь — жила, в ней нарастала, во мне угнеталась — в том числе и страхом жениться (а к этому шло) и из пространства открытых возможностей в малый мирок законопатиться — еще и удушливый, еврейски-интеллигентский... и эти головные соображения остужали чувство — и вот в один тяжкий день зимой начала 1950 года — на скамейке Гоголевского бульвара мы сидели — и я выдавил из себя, что не чувствую прежнего (не помню, как и что)...

Стало мне вроде свободнее и легче, но — пусто и холодно. Ибо в никого-то взамен не мог влюбиться — и хоть бы понравился кто, а как оцепенел душой и засушился. А «гулять» в легком увлечении — не мог, никогда не мой стиль:

Ты любишь горестно и трудно...
А сердце женское — шутя...

Но Эми не шутя, а страдала — и как оскорбительно это ей было. И она боролась за любовь — даже матери моей написала: как же так? Я была ему и женой! — хотя ЭТОГО меж нас не случилось, а разве что прилегали друг ко другу, но она отдергивалась...

А в начале 4-го курса шло комсомольское собрание актива филологического факультета: обсуждали кандидатуры в факультетское бюро, и меня туда прочили, — вдруг слово попросила комсорг английской группы Нозми Городинская и сказала, что у нее есть отвод кандидатуры Гачева: не достоин... Не помню уж, что говорила — бедная!.. Уж какой занозой засел в ней наш разрыв, что даже на грубый суд людей она, тонкая и хрупкая, решила вынести наши отношения... И потом в перерыве меня подозвал Петр Юшин — парторг факультета, такой тяжеловесный русский мужик, и спросил впрямую: что у вас с Городинской было? «Ты жил с ней?» — Не обвинять же ее в клевете! — так что «признал»...

Все же меня выбрали в факультетское бюро — но доверили второстепенный: физкульт-спорт-сектор... Но я не помню, что там делал — манкировал и вообще повернулся в учебу... Лишь помню, что девушки группы логики-психологии стали распевать про меня на мотив «Сулико»:

Гачев смысла жизни искал,
Грудь его щемила тоска.
Долго он томился и страдал —
Наконец нашел идеал.

Жизнь теперь для Гены ясна,
Он по ней уверенно идет
И, лишь пробуждается от сна,
Весело и бодро поет:

И далее на мотив спортивной песенки — уже цитата:

Почему я не болею?
Отчего я здоровее
Всех ребят из нашего двора?

Потому что утром рано
Заниматься мне гимнастикой не лень,
Потому что водой из-под крана
Обливаюсь я каждый день!

Да, чтоб закончить сюжет с комсомолом и вообще моим участием в общественной жизни и принимать ее близко к сердцу, — как в конце 3-го курса, своего «секретарства», подал заявление о приеме в кандидаты в члены партии — такая уж инерция была в среде «комсомольских работников» — вступить далее на конвейер... Но для этого надо было сначала рекомендацию от ВЛКСМ получить. На первых ступенях мне таковую дали, но где-то: то ли на факультетском бюро — нет, на бюро Вузкома МГУ не дали — с формулировкой: «Дать товарищу возможность еще поработать в комсомоле»... Я переживал: рядом шла Смородинская Тамара (потом Балашова) моложе меня — и ей дали, а мне — отвод...

Но — и слава Богу! Какая удача, что уберег от влезания в эту машину и оставил в свободе жить далее — существенной жизнью... — а не среди мнимостей!..

Вспоминаю, что мне еще до того, когда не переизбирали секретарем на 4-й курс, инкриминировали: что не согласовывал шаги и планы с парторгом курса — Нагаевым: проявил «комсомольский вождизм», «руководящую роль партии» подрывал. Ну и — напомнили высказывания некоторые. Например: на политинформациях в группах — я «разрешал» не читать речи Вышинского, потому что там «много воды»...

...Уф! Про самое душе трудоемкое — отписал: про Любовь к Нозми и сюжет с ВЛКСМ... Теперь — про приятнейшее вспоминать: лета, походы в горы... И — про учебу — что главным быть бы должно в студенческие годы!.. А у тебя, увя! — не так...

Ну и пора в деревню собираться — уж к 1 часу время идет. <...>

Турпоходы = утопия свободы

Переношусь в студенческие лета — и именно ЛЕТА: как их проводил.

Значит, лето 1947 — в Болгарии. А лето 1948 началось — с работы в колхозе подшефном Красновидово. И — прекрасное это заведение в советском стиле жизни: что и школьники, и студенты месяц-другой работают физическим трудом на природе, горожане — крестьянствуют. Античный идеал — целостного, гармонического человека, развитого и в умственном, и в физическом труде, а не одностороннего «работника».

Кстати, забыл про военные годы: раздавали сотки земли — для самопрокорма. И маме дали — где ныне «Ленинский проспект» и универмаг «Москва» — там поля были. И мы с мамой летом 1944 года копали и картошку посадили — и мешка два собрали на зиму — и свое ели. А еще раньше — тем летом 1943, когда в совхозе «Ленинские горы» работали, нам под конец выдали овощей в оплату. Капусту, морковь... Не помню, как довозил. А репу — повез на Центр<альный> рынок — продавать — плохо получалось, но — интересный опыт...

Итак, после весенней сессии 1948 — поехали в совхоз. Веселое молодое времяпрепровождение: в трудах не убивались, а костры, сеновалы, песни, стихи, студенты разных курсов и отделений сдружались, спознавались, влюблялись, заигрывали... Парторг был Май Подключников — высокий и красивый фронтовик — старший (а всего-то 25 ему!), а комсоргом — Ваня Волков — добродушный и веселый, а хохотал так заливисто!..

Приехал туда несколько спустя — и Саша Лебедев, комсорг курса. Он только что вернулся с похода на Кавказ, в горы — и пел альпинистские песни: «А струйки мутные так медленно стекают...» — и так увлекательно рассказывал, что я заразился — и решил на следующий год пойти в турпоход в горы.

Не помню, как собрались, но к весне 1949 года сложилась группа в 5(6?) человек — на чудный маршрут: Теберда — Домбай — Бадукские озера, Мурджинские озера, перевал Эпчик, перевал Клухорский — спуск в Ажары, Сакен, по реке Кодор — Сухуми — и море!

Начальник был — Юра Поляков, еще Кириллов Слава, я — мужчины, а еще две девушки... Надя Кирпичникова, кажется, поджарая и легкая...

Дивно это — после тесноты и сумятицы города — оказаться утлой группкой человек — среди Природы первозданной — да еще такой красоты и мощи, как горы, Кавказ. Такой Абсолют — и Божество. И еще — из мира Социума — да еще савейского, идеологического — в самовластие — микрообщество — на началах дружбы образуя! Свобода! Так что уход в поход — это не просто руссоизм, «назад к Природе», но и «вперед — к Свободе!» Молодые, умные и образованные люди создавали — пусть на время и в особом странстве — но идеальное общество — на началах взаимного уважения личностей, где совет да любовь — и рациональная организация труда (игрового) — спорт, восхождение, испытание мужества и риск, и взаимовыручка, — и быта: палатки, костры, дежурства... А для нас, студентов, не прошедших войну и комплексовавших перед фронтовиками, поход в горы — где опасность, и пропасть, и смерть рядом, — был шанс испытать себя и проверить: каков человек я, как поведу себя в экстремальных условиях. Это мне было важно, для мужания и достойного самочувствия.

Ну и все детали продумать: снаряжение, какие продукты и сколько, аптечка, шитье... — универсум, самообслуживание, самому все предусмотреть, выйдя из цивилизации и разделения труда, — выход в независимость! «Все мое ношу с собой» — древний философский принцип — тут реализовывался, когда мы вот пятеро идем-корячимся, но в рюкзаках несем все необходимое и достаточное, чтобы нашему социуму — выжить и сделать свое дело, осуществить — самими поставленную себе цель (а не дядей Властью и Партией и Правительством).

Там, в походах — и вольные разговоры — по душам, и идеями обмен, а и взаимообразование. Потом, когда с Азархом ходил — великим туристом — в группе — инженер, биолог, экономист, филолог, врач — ... — по пути, разго-

варивая, образовывали друг друга — в специальностях каждого! Еще и само-
чинный университет похоже сам собой получался!

В походах зрело и диссидентское движение (ибо там, в горах, можно до-
верительно и про политику говорить: ушей нет у гор!), а у костров — «бар-
ды»-песенники состязались, туристские акыны... Тоже феномен — свободно-
го, неподцензурного творчества!..



В турпоходе. Архив семьи Гачевых

Но вернусь к первому походу — 1949 года. Когда после ледника Клухор-
ского перевала, где снежник и дождь и вымокли — перевалили на юг, в ущелье
реки Кодор и стали спускаться, и пахнул ветер теплый и ярусами расти-
тельность возникала, с севера на юг: мох и лишайник, и карликовые кусты:
вот уже сосны, и [1 нрзб.], и яблони, и инжир — ...потрясение — и вот уже рай
субтропиков!.. И вот уже в Ажарах едим абрикосы и пьем вино — и едем на
грузовых машинах, с борта глаза в отвесные ущелья и скалы нависающие —
«Пронеси, Господи!». И — прибыли в Сухуми, на море!

Какое еще познание — и природы, и быта, обычаев, пищи — этносов
разных дома и одежды и проч.!

Но этого мало! Покупавшись в море с сопоходниками, я отсоединился и решил продолжить сам. Купил палубный билет из Сухуми в Ялту — первый раз на корабле по морю и ночью. А высадившись в Ялте — исходил Южный берег Крыма: Симеиз — гора Кошка, Алупка — Воронцовский дворец. Ласточкино гнездо — на нем прямо и ночевал, на балконе нависшем... Потом Гурзуф, ночлег на Аюдаге — Алушта — и айда в Москву — в общем вагоне. Молодое дело — 20 лет!

Август 1948 — на лодке в Карелии

2.9.2003. Сладко вспоминать о Гурзуфе — в Новоселках: о море, зное и синем небе — под обложным серым небом и дождем холодным. Брр!

Однако и тут развидняется: вдруг солнышко, синева... Но — на миг, ненадежно. Как каприз прекрасной женщины, что манит — и тут же осаживает. Бросает тебя от восторга — к унынию и треплет, расшатывает душу. В космосах, где Времена года, — перемены души и перемётны, нельзя на них положиться в хорошем и в злом — не устойчивы. Меньше всего — в радости, в счастье: не верят в него. Стойко и субстанциально тут — Уныние, готовность к худшему... И отсюда — довольство малым благом, коли выпадает. «Бывает хуже!» — формула тутошнего «оптимизма»... Хотя слышал ее повторяемой — в уста русского еврея-врача, в Беларуси...

Вспомню заодно — и пропущенное лето 1948. Лишь пол-лета был на студенческих работах в подмосковном совхозе, а на конец июля и август — перенесся на Север. Мама мне достала путевку в дом творчества, что расположился в бывшем охотничьем замке Маннергейма под Сортавала, среди озер. Берешь лодку — и путешествуешь по заливам и проливам, высаживаешься на остров — там запущенный сад (эта местность после Войны отошла от Финляндии к Карельской ССР), ягоды всякие... Поплыл дальше. Аж заблудиться можно... — «мореплавать». Композитор Раков Николай — красивый, русский, седой — тот вообще яхту на парусах соорудил и летал... Еще Животов там был, ленинградец, писал романсы... Экскурсия была по Ладожскому озеру на остров Валаам — и монастырь разглядывали.

Как-то раз пригласил я к себе в лодку даму — театроведа Татьяну Бачелис, маня показать чудные места в путешествии. Ну и — ей 30, мне — 19 — и естественно — случилось — на бережку, под солнышком... Но она и сама, было видно — непрочь: отдавалась с жаром и с юмором... «Прогулки» наши продолжились, хотя она хромовата: на одной ноге ниже нежного бедра — протез...

С Дамой — не то, что с Девой (как было с Ноэми: фиаско от мечтания и нервного перенапряжения на подготовительном этапе...): Дама сама помогает — опытная в сем деле, перешедшая Рубикон... А Дева — ножку опустит в воду — и отдергивает назад, с берега не сходя, в страхе потонуть... <...>

Лето 1950. Альплагерь и второй поход по Кавказу. Кабарда и Сванетия

После похода по горам Кавказа в 1949 году понял, что там без альпинистской техники нельзя, и в начале лета, достав путевку, поехал в альпинистский лагерь «Родина» в Цейском ущелье на Военно-Осетинской дороге. Лагерь расположен в «цирке» горном: долину-котловину обступают пики — как частокол, остриями вершин оберегая святилище Главного Кавказского хребта — от наглицев-профанов-пришельцев. По крайней мере, им надо приобщиться к навыкам горцев-туземцев. Чем и занимались — овладевали техникой и инструментарием: ботинки на триконях, кошки, веревки, узлы вязать, крючья в щели вбивать, ледорубом ступени рубить — и страховать — себя и товарища... По отвесу «дюльфером» подниматься и спускаться — в надежной силе мышц и ног...

...Завидно вспоминать — в нынешней остеохондрозной немощи!..

Ночлег в палатке под шум горной реки — рокотание. Ломящая зубы ледяная вода — только с ледника стаявшая. Все — бодро, упруго, свежо и чисто!

В заключение — поднялись на пик Николаева — выдали нам значки «Альпинист СССР» — красивые: волна Эльбруса белогрудого под синевой неба, а поперек — ледоруб... Удача художника — такой образ-символ, сюжетный внутри себя, найти!

А после альплагеря — в поход... А может, и путаю, что до, что после, но оба события — в лето 1950. Маршрут: Нальчик — Чегемское ущелье — Безенги (это по Кабардино-Балкарии), перевал Твибер уже в Сванетию и оттуда по р. Ингур — в Зугдиди и на море.

Тоже Юра Поляков — руководитель (точнее «НОГО-водитель»), еще один парень — а, вспомнил: двоюродный брат Юры, и три девицы: Инна Поветкина, уже альпинистка, Надя Кирпичникова (что и в прошлом походе), и Лариса... Ну и я.

Пустынные аулы Балкарии: сотни саклей — без людей, выселенный этнос — сильное впечатление. Лишь пастухи иногда с овцами... Редкие «коши» — очажки жизни...

Раз послал Юра нас с Инной Поветкиной на разведку в боковое ущелье



«Кавказ подо мною — один в вышине». Лето 1950



«Шествие на ослиати».
В походе на Кавказ. Лето 1950

лье. Несколько часов вдвоем — налегке, без рюкзаков, прогулочнo. Ну и разговаривали, прониклись друг другом, перекусывали у речки, лежали на солнышке рядом: она в полотняных шортах, крепкие бедра — такая коротышка милая. Ну что бы — не обняться — и далее?.. Она — раскрасневшаяся была лицом: может, и ждала?.. Но... спортивный стиль — целомудрен...

На следующий год она погибла под лавиной... А если бы ТОГДА случилось меж нас ЭТО (или НЕЧТО) — может, цела бы была: женственность бы развилась в ней и оттеснила спортсменскую амбициозность на чемпионство?..

Подожли мы в походе к знаменитой Безингийской стене, ледовая, километр высотой, ослепительное зрелище под солнцем — на фото так видели, но — нам не повезло: пал туман и облачность — сутки постояли, подождали, но — надо далее — и снялись и пошли.

Перевал Твибер — 2-й категории трудности: змеится, в трещинах и осыпях по льду... Напряжение и осторожность — по нему двигаться. Ночевали двухэтажно: палатки на площадках малых одна под другой поставив. Но когда раскрылась долина Сванетии — в башнях, восторг простора и победы души охватил — и свободы! И край это — страна малая, где гордый и воинственный народ — сваны, голубоглазые и светловолосые — чем среди южан черных грузины отмечены. Ну да: они ж = северяне: высоко в горах ведь Север и такой климат и растительность: снега, мох, сосны и ели — ну и антропос сходен с северянами: русскими...

Жили кланами, и башни — строили высокие, как жилища целого рода, воюя с соседними кланами, что тоже в своих башнях...

Потом по Ингурской тропе, сначала пеша — уже налегке, а потом на машине... — и через Ингурскую гидроэлектростанцию мощную, питающую и Грузию, и Абхазию (ныне это пространство — поприще войны — нелепой, между ними) — в Зугдиди и на море — в Очамшири... Приятно имена эти, звуки прополоскать во рту...

Через 17 лет я в Институте мировой литературы вел в аспирантском общежитии домашний семинар о национальных образах мира, и был среди участников — Володя Агрба из Очамшири. Я ему подарил свою книгу «Ускоренное развитие литературы» с надписью:

Берегись, Володя, сын Очамшири!
В ИМЛИ выращивают духовные чирьи!

Где они теперь — абхазы, участники тогдашнего семинара: еще Борис Гургулия, Костя Цвинария, — «по какую сторону баррикад»?..

Когда вышли к морю, я уж не бежал сам далее, а всей группой неделю понежились в том пространстве — еще и в Пицунде, ее сосновых древних рощах на песке у моря, обедааясь фруктами...

...Однако, солнышко — и пора подвигаться. Начну копать...

А как шла учеба?

6.30. Почитать, что ли, что?.. — Так читай книгу своей жизни: не отлынивай.

А что же учеба? Любимые предметы, профессора?.. Были ли? Или профукал ты университетские годы — с этой, главной, вообще-то, стороны, а важнее душу твою захватывали треволнения жизни и мужания твоего?.. Похоже, что — так. Познание, наука, философия и собственное творчество в них стали захватывать дух мой и душу потом, лет с 25, когда поступил в аспирантуру ИМЛИ — с 1954 года, и стали возникать собственные идеи — и исследовательский интерес их испытывать и развивать.

Нет, учился я «нормально» — получил диплом с отличием, но все ж знания в меня западали школярски, не проблемно. Но и за то спасибо, что в тебя «запали». Потом активизируются, заживут, навиваясь на рожденные тобой идеи и вопросы.

Правда, два раза я испытал сильные импульсы погружения в науку чистую. Когда писал курсовую работу про былинку о Садке на 1 курсе, в семинаре Либана по анализу художественного произведения, и на 3 курсе, когда писал работу «Эстетика Шелли — эстетика революционного романтизма». Подбирать литературу по вопросу, читать, вникать, спорить — в библиотеках: в Горьковке, в Ленинке — так самозабвенно погружаться в отвлеченное от тебя Знание! И сладко стало выписывать, комментировать, толковать тексты — и писать, и писать, умножая свои странички. По Шелли страниц полтора написал, еще и сверяя английский оригинал и русские переводы, — на особенности национальных умов выходил. И пришел к предпочитать свой грубый буквальный перевод — поэтической гладкописи. Свой — сохраняет корни и образы местные, а не стушевывает их. Этим методом я пользовался затем при описании национальных образов мира.

На 4 курсе Роман Михайлович Самарин, кто заведовал романо-германской кафедрой, узнав, что я начинал как славист и болгарин, предложил мне досдать предметы и славянского отделения — и так окончить факультет по двум специальностям, а дипломную работу писать по болгарской литературе в контексте мировой и русской — один, общий.

Я так и стал нацеливаться. Стал посещать снова славянское отделение — и курс славянских литератур и проч. сдавал. Как курсовую работу взял — панорама современной болгарской поэзии. Много начитал, на доклад об этом пригласил Самарин из Института славяноведения Виталия Злыднева и Игоря Шептунова — молодых тогда асов советской болгаристики... Они меня очень погромили. И справедливо. Я рассортировал материал по темам — и много цитировал стихов, увлекаясь, анализа же не дал — тенденций... Каша, а не картина вышла: разброс...

Потому я решил для диплома сосредоточиться на одной фигуре — на Христо Смирненском, но рассмотреть его всесторонне... Очень увлекся. Просиживал в Библиотеке иностранной литературы — до закрытия, с книгами, под лампой — и странички за страницами писались... Так что в итоге диплом мне — величиной с диссертацию вышел — страниц на 400–500. Руководителем мне Самарин пригласил театроведа Игнатова. Милый, старенький (там мне казалось): что-то у него было по славянскому театру, — но



Филологический факультет МГУ. Выпуск 1952 года. Г.Д. Гачев в верхнем ряду в центре.

Архив семьи Гачевых

не вмешивался и одобрял. Защита прошла хорошо. Самарин особо отметил анализ поэтики — даже зачитывал мой анализ стихотворения «Углекопы» («Вьглекопачи»)… Госэкзамены сдал тоже успешно.

Предстояло РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. В моем дипломе в графе «специальность» записано: «английский язык и литература, болгарский язык и литература» и что могу быть научным работником, преподавателем в Вузе и в школе. (Надо бы точно, но нет под рукой: в деревне же!..)

Аспирантура мне не светила — я уже знал. Предложили мне работу редактора в Издательстве литературы на иностранных языках — по болгарскому языку…

Что-то скучно мне это показалось… Хотя — в Москве ведь оставляют: ценит бы!.. Но это-то как раз мне не по душе: опять дома, под мамочкой, с вечной ее теткой в наших смежных комнатах (из-за нее и не мог в дом Нозми приводить…). А вот друзья с русского отделения — несколько человек взяли направления — ехать учителями в Брянскую область… Ну и решил присоединиться к ним. Преодолеть притяжение инерции — жить домашним животным — и вылететь на волю, в самостоятельность…

Пошли мы по окончании — в поход по Подмосковию приветливому — поблизости, большой группой — человек 20. Кроме «брянчан»: Попов Алеша, Лунина Лена (они уж — жених и невеста), Жанна Витензон, Лемира Паенсон, — были еще Наташа Победоносцева с Игорем-инженером (тоже пара будущих супругов, как Бочаровы Сергей и Ира — уже женатые, и физик Курдюмов Сергей — с Валей — тоже будут муж и жена… И другие. Владик Зайцев, Юра Манн (кажется). Такой прощальный поход расставания-разлета.

Поход на Алтай летом 1951. Михаил Азарх

Но забежал я по годам. Вернусь в лето 1951. Тогда меня приняли в группу для похода на Алтай. Формировал ее Михаил Авраамович (как он себя от профанного «Абрамовича» отличал) Азарх — страстный турист, потом мастер спорта и собиратель туристских значков: самая большая коллекция и его книга «Туристские значки рассказывают». Азарх и еще Борис Москвин — потом главный редактор журнала «Турист» Алоиз Филипенко накануне зимой совершили лыжный поход по Закарпатьяу, сдружились и составили основу похода на Алтай. Еще приняли двух девушек: Лия Максидонова¹ и Таня… Ну и меня — им нового, приглядывались, прежде чем взять.

Поход был серьезный — высшей, 5-й категории трудности по классификации… Первопрохождение реки Кадрин, где ущелье узко и бом на боме (скальный выступ перегораживает движение по одному берегу — приходится переправляться на другой через стремительную горную реку, а там — снoва бом — и переправляться назад, и так зигзагами двигаться).

¹ Лия Георгиевна Максидонова (1930–2003) — филолог, педагог.

Но это в середине похода. А начали с Бийска — по Катунь, потом Горно-Алтайск, Онгудай, Чуйский тракт. Сколько увидели, узнали: быт горно-алтайцев, маралы и панты — драгоценности их рогов и соков... Кедровые леса нетронутые — и шишками питались — орехами. Потом выход на реку Чулышман. Оттуда верхами на лошадях до Телецкого озера. По нему — на плотках... Так что масса и спортивных преодолений, и познавательных и х[уд]ожественных привхождений — в нас... 40 дней длился.

Сдружились мы. А с Азархом и потом я в походы ходил: замечательный человек и характер — на после рассказ о нем оставляю, чтоб не замедлять ход жизни и темп ее описания.

А в зимние каникулы 1952 года собралась на курсе нашем группа на лыжный поход — по Мещере на Оке: от Мурома до Рязани. Морозы, ветры, пурга, плутания... Но зато когда добирались до деревеньки и нас размещали по избам — какой рай!.. По пути в клубах и школах — частью лекции читали, частью — концерты. Поход-то именовали агитационным — и тогда местные органы нам помогали: режим благоприятствования, что важен в чужих местах. То же и на Алтае было. А Азарх умел с апломбом себя и нас подавать — и сразу выходил на высший местный уровень, и соскучившиеся провинциалы щедро принимали москвичей. Так что не раз на Алтае нам выпадал «великий обжорон». От Азарха я узнал *туристский табель о рангах едоков*.

За единицу измерения принимается «жрущая единица». Вниз от нее — «пол-жрущей единицы» и еще ниже — «рахит». В верх же: «едок 3-й статьи», «едок 2-й статьи», «едок 1-й статьи», ЖРЕЦ (от «жрать»), «кандидат в титаны желудка», «титан желудка».

Азарх читал лекцию «Маразм американской культуры» (внутренне хохоча, ибо в афишах путали: «Маразм читает лекцию “Азарх...”») Кто поймет это слово?

Брянск. Учитель в школе № 10. 1952–1954

3.9.2004. <...> В начале августа 1952 мы пятеро приехали в Брянск с направлениями в ОБЛОНО (Областной отдел народного образования). Леша Попов устроился в газету «Брянский комсомолец». Жанну Витензон определили в Институт усовершенствования учителей, Лену Лунину — в Брасово, райцентр, в школу, Лемиру Паенсон — в Клетню, тоже райцентр, в школу. А когда до меня дело дошло — тут зашел в ОБЛОНО директор школы на окраине Брянска — Демьянович, Михаил Иосифович, посмотрел на меня, пораспросил немного — и попросил направить меня к себе...

Брянск... первоначально «ДЕБРЯНСК», от «дебри». И действительно, до сих пор знамениты Брянские леса, где в Войну партизаны неуловимы были. Но город — рабочий: ж.-д. узел на Киев, паровозостроительный завод, машиностроительные... Так что в школе — дети рабочих. Особенно на том краю, где Брянск переходит в г. Бежицу — тоже промышленный...

Город стоит на высоком берегу Десны — «десного», правого притока Днепра, вытянулся по нему. Поверху берега идет центральная улица — Ленина, по низу же — ул. Калинина (менее важная). На ней в конце, где город переходит в рошу «Соловьи», и стоит школа № 10. Над ней — крутой подъем и деревянная лестница, по которой я сбегал, спеша на урок не опоздать, когда поселился наверху. А внизу — прямо Десна. И зимой, когда замерзала — естественный длинный каток, куда и я выбегал с учениками. И одной зимой ученик Лустин меня спас: я разогнался на «норвегах» — и вдруг слышу крик: «Георгий Дмитрич! Куда ж Вы едете?!...» А ехал я прямо на воду: Десна там делала поворот, и вода не совсем замерзала... Так что еле успел я затормозить...

Демьянович, Михаил Иосифович, русский или белорус, и его жена Анна Васильевна — чудная семья русских народных интеллигентов. Патриархальная, но в меру: двое уж детей: дочь Галя, лет 15 тогда, и сын Саша, лет 12. Сами ж они: он — лет 42, она — лет 38, красивая крепкая русская женщина. Так тепло было приходить к ним в семью — как семья капитана Миронова в «Капитанской дочке»: простые нравы. Ко мне — отчески и матерински: опекали, помогали: он — историк, а особенно она — словесница экстра класса. И мне он был — ну как Максим Максимыч — Печорину. Не могу лучше объяснить, чем аналогиями из русской литературы. Он — светловолос, но уже и с лысиной, в очках. Она — с пучком волос, с широким добрым лицом.

Мне директор дал такую «нагрузку»: вести русский язык и литературу в 8-б классе и классное руководство, а в 5-м — английский язык... Поскольку мне все впервой (не как у опытных, у кого наработаны планы уроков) и к каждому уроку самому готовиться, М.И. нагрузил меня бережно. Ну и зарплата чуть ниже средней — рублей 120–130: на одного — ничего. Хотя — снимать комнату еще... <...>

Коллектив учителей — разнохарактерный по людям, но все — учителя, хорошо ведущие свой предмет... Ну и некоторая «элита», наиболее интеллигентные, с кем Демьяновичи семейно дружили. Нина Федоровна Ефимова — совершенный ас в знании русского языка, всех тонкостей, как их преподавать, худощавая, холерическая (как ныне актриса Гурченко), острая на язык, ироничная. Я много спрашивал и у нее, и у Анны Васильевны: как что преподавать — и они делились «секретами»: как «не» и «ни» различать ученикам... и т.п.

А по литературе интересно спорили мы — о трактовке образов персонажей. Они судили более строго этически и линейно, я — более эстетически и широко...

Нина Федоровна, лет 32–35, из поколения безмужних русских женщин, чьи возможные женихи и мужья убиты на Войне. Жила вдвоем с сестрой Александрой, дом в книгах... И естественно — внутришкольный роман с учителем математики и физики — Михаилом Исааковичем Кокотовым: очень



С учителями и учениками 10 школы г. Брянска, 1952. *Архив семьи Гачевых*

умный еврей — лет 40, с юмором, заботливый семьянин с двумя детьми, зарабатывал «часы» в разных местах... Они очень подходили друг другу: он — приземистый, широкий, круглоголовый, «брахицефал», добродушный, она — выше его, сухощавая, узколица, «долихоцефал»... Года два, на моих глазах — я тоже был доверительно принят в круг «элиты» учителей — их любовь продолжалась. Но — сплетни, доносы, жене его, но что важнее — в РОНО — и нажали и разлучили их... Убили любовь!.. злые люди, суд людской. И он умер — лет 50 — потом узнал: инфаркт: удушен же человек — без Любви!..

Класс 8-б, что мне достался, неважно подготовлен по русскому языку: предыдущая словесница, что мне его передала, из тех, что особо себя не утруждали и «натягивали» отметки. А ведь курс основной русского языка заканчивается, по идее-то и плану — в 7-м, а в 8-м уж — высший пилотаж: сочинения по литературе. Но раз лепят грубейшие ошибки, пришлось мне дополнительные уроки — и с классом, и отдельно вести, оставаться... Ребята злились, да и мне — охота что ли?.. Но — старался — и все же выровнял класс. И к 9-му классу — уже неплохо, и стали манкировать дополнительными занятиями. И тогда, чтоб подтянуть, я решил их утратить: подобрал диктант из трудных — и сам еще его усложнил: каждое простое слово заменял тем, что труднее... И уже когда диктовал, ропот поднялся: почуяли подвох, не успевали сообразить... И когда я в ночи сел проверять... — то потом так расска-

зывал коллегам: «Решил, что лягу спать, когда до первой двойки дойду?» — «Что, так грамотно?..» — «Нет, все — единицы!» Лишь один — Азаров, сын инженера, — на 3...

Демьянович меня ругал: зачем проставил отметки в журнал? Ведь до РОНО донесли: что это за учитель?.. Но все же на учеников подействовало — стали лучше заниматься.

Да, припомнил: мне дали два 8-х класса: еще и 8-А. Вспомнил, потому что ученик Яков Меерович, длинный такой, написал этот диктант — на 4.

Постепенно, погружаясь, начинаю вспоминать лица: выплывают из тумана, приближаются — и уж их характеры и выражения зрю.

...Однако поработать надо: пару гряд картошки выкопать — сухо.

Бессонница хирурга Разгулова. Идти ли на компромисс?

11.30. Почти полночь. Пришел сосед, хирург Разгулов, принес пакет сушеных грибов и пакет сушеных яблок — от Тамары (бартер за ведра яблок, что я им носил) и фляжку своего фирменного напитка — градусов в 25 — и «по-окали» — как он это называет, пока на плитке варились грибы, что я перед этим отработал...

И снова повернул разговор на его мучительный сюжет, что не дает ему спать. Он — первый ученик Демихова, кто пионер в трансплантологии органов: вместе пересаживали сердца — у собак. Кристиан Барнард, из ЮАР, кто первый пересадил сердце человеку, — у Демихова перенял... И вот Разгулов развил дальше: метод пересадки почек — простой и дешевый — с искусственной почкой — и предложил внедрить, но надо патент, а его должен подписать директор ин<ститу>та трансплантологии Шмаков, кто ему соперник и отнял у него лабораторию. И прямо сказал: «А где моя фамилия?» — «А Вы тут при чем?» — возмутился Разгулов. — И тот не подписал. И вот миллионы людей не могут получить излечение, а — умирают из-за уремии и проч.

И вот вопрос — и нравственный: не стоило ли бы поступиться честью первооткрывателя и подпустить к славе мошенника-гангстера? Все же тогда открытие пошло бы в дело — и спасались бы люди? Это — трудно и унижительно. Но — христиански бы — да, стоило...

Но как преодолеть и сию гадость, и свою гордость?..

Ты ведь тоже в 60-е годы бежал от идеологических насильников, требовавших уступок и идти на компромисс, — и ты не смог — и ушел из печати на 25 лет на писание в стол, зато чисто и в свободе творчества... Но ты-то мог: тебе достаточно листа бумаги, а ему — лаборатория нужна: зависим от многих условия...

Но ведь и твои перворазработки в культуре: описания национальных образов мира, если бы были сразу по написании опубликованы — лет 30 и 20 назад, — могли бы полезны быть и в прагматике национальных отношений

и в мудрой политике улаживания нац<иональных> конфликтов: если б считались и понимали нац<иональные> особенности психики и миропонимания разных народов. Но ты убежал с поля идеологической брани — и унес с собой свои открытия: самонаслаждался вольным исследованием, плюнув на общество и людей...

4.9.2003. Э! И у меня бессонница. Разбередил я Память, ее слезавшийся склад — и через пористую уже его текстуру стали вылетать картины, лица из разных времен тебя — влетают из подсознания в сознание, крупнеют, наливаются волей воскреснуть — и побуждают тебя отдаться им и слово и думу... Но их много, а я — один! И вот как осиное гнездо расшевелил — и летают, жужжат, кусают, отталкиваются и отталкивают друг друга. Такое гладиаторство на арене твоей головы... Где ж тут уснуть?..

Отношения с учениками

Но встроимся в последовательность: мы — в Брянске в 1952–1954. Мне — 23–25. А ученикам — 15–17. Невелика разница. Авторитет обрести трудно — у подростков критического возраста и иронического жизнеотношения... И прозвища меня у них возникли. Одно вспоминаю: «Первый вопрос»... Это я, начиная опрос на уроке, так говорил...



С учениками-подростками в Брянске. 1952. Архив семьи Гачевых

Посоветовали мне опытные учителя — наладить отношения с «лидерами». Такой был — Трегубов Володя, переросток лет 16, безотцовщина, убежал из дома и шлялся, крупный малый («оксюморон»!), сидел на задних партах, с вечной ухмылкой широкого губастого рта и прищуренных глаз, с походкой вперевалочку... Его старостой класса назначил — «оказал доверие». Ну, он то помогал, то раз завел весь класс уйти с чьего-то урока: ЧП в школе — и мне, классному руководителю, разбирать: кто? что?.. Но ребята держались стойко, как в «Фуэнте овехуна» — в пьесе Лопе де Вега крестьяне восставшие не выдавали... — и я отступился, в душе восхищаясь ребятами... Однажды осенью слякотным темным вечером пришлось мне в драку вмешаться: ватага с горы — с нашей школой, и в ней Трегубову досталось: кровь текла, я его подхватил, повез в медпункт перевязывать... Ну и — стяжал благодарность и его, и его матери, которая так радовалась, что я взял в благой оборот ее «шелапуту», И потом мне писала она, Марья Николаевна Галанова, до недавнего времени, уже и похоронив сына — на лесоповале в КОМИ АССР... В моей книге «Америка» приведено его письмо мне от 1975 г., оттуда и мой ответ: там проступает его личность-характер и стиль.



С классом на воскреснике. Брянск. 1953. Архив семьи Гачевых

А другой «лидер» в классе был Терешин Станислав — тоже крупный, но «правильный»: спортсмен, самолюбивый, опрятный, рационалист: математика и физика ему давались хорошо, а в русском — швах. Я с ним дополнительно занимался, он старался — видно, уж нацелясь в институт поступить:

из семьи инженера. Упрям, но воспринимал логические доводы — и даже любил мне возражать, чтобы получить обоснованное опровержение.

Вообще ребятам нравилось неформальное отношение молодого учителя к ним, хотя на грани фамильярности: что уважал личность в ученике. Ну и лестно им было: из Московского университета и знающий широко, хотя и не опытный, но старающийся: работает «с душой»... На уроках литературы я их провоцировал на полемику — и с писателями, и с персонажами, и с тем, что в учебниках, и что я им говорю... Это их развивало и нравилось, что их «я» обретает голос... Помню: устроил «суд» над Катериной из «Грозы» — повторил опыт, что вынес из 10-й школы — гор. Москвы (впервые дошла переключка номеров!), где в 9-м классе умная словесница с нами такой спектакль полемический проводила...

А в зимние каникулы мы с классом (кто захотел и смог) пошли в лыжный поход по лесам и селам Брянщины — неделю или 10 дней. Заранее готовились: снаряжение, продукты, чтоб концерт по пути в селах давать. Трегубов был мне первый помощник. Там всякие приключения были: где-то сбились, и промерзли, где-то ребята самогону подшухарили и выпили — в меру и лукаво на меня глядели, повышенно возбужденные... Но всем понравилось — и сблизилось и потом вспоминали...



В лыжном походе с девятиклассниками школы № 10 г. Брянска. 1953.

Архив семьи Гачевых

Ну и, по ходу преподавания, поглубже понял и почувствовал русскую классическую литературу XIX века: внимательно и медленно вчитывался в тексты, да и вокруг да около, что о них написано, читал.

Как классный руководитель, по домам учеников ходил, в семьи их, с родителями — быт, характеры... Жизнь «рабочей слободки» познавал.

А как жил в Брянске?

Ну а как жил в прочем — эти два года?

Сначала мы с Алешей Поповым сняли вместе комнату с прихожей в большой избе у хозяйки с детьми малыши. Часто слышались крики «мамуля!» — так что мы с ним так и прозвали этот дом — «У маммуль!» Это на центральной улице, что вдоль высокого берега протянулась. До центра города — перейти мост над глубоким оврагом (в первый день приезда мы в нем на солнышке бивуак разбили после посещения ОБЛОНО...). В ту сторону Алеша ходил в свою газету. А я после завтрака (обычно яичницу из 4-х яиц жарили и буффонно измеряли спичкой толщину слоя при дележке) — бежал в другую сторону, спускался по лестнице — минут 20 уходило от дома до школы...

Познакомился я с редакцией «Брянского комсомольца»: веселые ребята, индивидуальности! Серьезный Новоженев — ответственный секретарь, Недзвецкий — брат Валентина Александровича, с кем потом пересечемся в Москве и ныне — профессор филфака МГУ.

В редакции весело: вечный журналистский карнавал: новости, сплетни, анекдоты, про всех все знают, хитреца авгуров на лицах... Я завидовал общей дружной жизни мужской там — ну и с девами — легкость. Центр города, свет... А мне с утра на край города, по слякоти и во тьме — и там до вечера в школе, где стоит пианино и я, привезя ноты: Баха, Шопена, Бетховена, Моцарта и... — расплескивал тоску одиночества, играя с листа в опустевшей школе. Иногда Демьянович подходил, слушал, приглашал к себе (они жили при школе) — чай попить, потолковать...

Кстати, в «Брянском комсомольце» первую мою «статью» напечатали — к годовщине Золя «Разоблачитель буржуазного века» — и что-то еще.

Попов разъезжал по командировкам — и в Брасове закрепил свои отношения с Леной Луниной, и она на выходные приезжала в город и ночевала у нас. Слышались вздохи, мне было неловко — я мешал — и стал искать — одному пожить... Сначала недалеко от школы в роще «Соловьи» — в деревенском доме и саду у деда одного — на полный пансион встал — недорого, но и кормил экономно, но аккуратно — вовремя. Завтрак приносил: много картошки, ливерная колбаса... — «Вам же надо хороший минимум!» — говорил, имея в виду «меню»... Это осенью золотой 1953 года — хорошо было: тишь, яблоки, флигель, как в XIX веке у помещика-одногодворца в малом «дворянском гнезде»... Но все же — на отшибе!.. А молодой ведь человек я! И где-то она идет, жизнь разнообразная, цветная, а я — в такой монотони и все один...

Так что перебрался в центр и там в одноэтажном доме в боковом переулке комнатку снял, за загородкой, квази-отдельную... — по рекомендации нашего учителя Кокотова М.И.: кто там недалеко жил.

Хозяин — приземистый еврей, с юмором. В доме чуть сладковатый запах, на мое открывание окна — иногда жаловался: как же — страх иудейский сквозняков!.. Его я вполне дома по маме знал... Ну да: помещенский народ — не пространственный (как русские): не в космосе природы, а скученно в домиках в гетто и местечках, тысячи лет в диаспоре жили. И национальная болезнь — астма... Ею и моя бабушка Сарра Яковлевна — мать мамы — а вообще-то красавица статная — и при седине... И сестра матери — Маша страдала...

Я ж, напротив, как бы реактивно отталкиваясь от сего стиля «заперти», — человек стихии воз-Духа, патриот открытого пространства (как и так же отталкивавшийся от своего иудейства Пастернак), и помню, Владимиру Максиму, писателю, так, даря свою книгу, написал в 1965-м:

«Гнусь помещения — святость Пространства!..»

Оказавшись в центре, — потянуло к светской жизни и культурной. В кино, в театр за-ходил, на приезжие концерты, в гости — куда б податься?.. Как прибаутку слышал в редакции «Брянского» К<омсомольца>»:

Куда пойти, куда податься?
Кого найти, кому отдаться?..

Тот же вопрос — неразрешимый — и неизбывная мука, в сущности, и во мне. Но мне-то — не «отдаться», но «взять»! — в том числе и ответственность на себя, в нравственности-то нашей...

К Жанне Витензон хаживал — дружески и с налетом симпатии: мила, жизнерадостна, остроумна, давняя знакомая, «свой товарищ». И она ко мне ласкова — и непрочь бы!.. Нас в кругу «наших» даже сватали как «подходящих». Но искры не проскакивало, а на легкость отношений? — не тот тут стиль... То же и с коллегой ее — у нее познакомились и гуляли, читая стихи: дева в соку, даже перезрелая, с усиками черными над губой — страстная, значит: похожа на Эми и почти обнимались — и отталкивались... СЕРЬЕЗ нависал и цепенил!..

А вот с машинисткой Брониславой в «Брянском рабочем», когда зашел туда и статью какую-то брали... — легко познакомились. Ну, она уж дама эмансипированная, курила, лет крупно за тридцать... С ней интересно поговорить, и гулять, и в театр, — хотя стеснялся, когда видели меня с нею: все ж учитель!.. Репутация...

Ну и зашли ко мне в каморку, где деревянные стены красноватыми обоями оклеены... Она легла, спокойно, не жеманно... Кровать пружинная стыдно скрипела... Но я, от долгого неимения женщины — как петушок: взле-

тел — и кончил!.. Она даже проговорила разочарованно: «И всё?» Но, дама опытная, меня успокоила, мы встречались и дальше некоторое время, — как вдруг!..

Я = «Михайлов»

Однажды директор подозвал меня и таинственно сказал: ему звонили и просили учителя Гачева зайти в такой-то дом по адресу... Это оказалось областное управление МГБ — Большой дом.

Я — в недоумении — но пришел к назначенному часу. Повели меня по длинному коридору в светлый кабинет — и там навстречу мне встал и поднялся элегантный человек, дружелюбно подал руку, стал участливо расспрашивать меня: как работается, как живет в москвичу в Брянске?

В общем, располагал к себе — в интеллигентном разговоре. Потом — «ближе к делу» заговорил:

— Вы окончили с отличием Московский университет, блестяще знаете английский язык. А у нас иногда появляется необходимость — перевести тексты с английского... Могли ли бы рассчитывать в этом на Вас?

— Что ж, пожалуйста...

— Еще — Вы знаете международную обстановку?.. У нас в лесах могут сбросить парашютистов — порасспросить их при случае...

Внутри пожимаю плечами: нелепость какая... Насторожился: во что-то втягивает... Но: сказал «А» — говори и «Б».

(Хотя — необязательно: вот тут-то и прерывать надо цепь, которую хомутают.)

Что-то еще опять незначущее поговорили. Да! Я сказал ему, что я сын репрессированного отца, чтоб знали! — а то, мол, меня в какие-то тайны посвящать?..

— Не беспокойтесь, мы всё про Вас знаем и вполне Вам доверяем: Вы ж — комсомолец!.. А «сын за отца — не ответчик».

(Потом в книге «Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр». Просвещение, 1968 — и как раз въедливо разбираю эту фразу: как отчуждение разрывает живые связи рода и оставляет человека беззащитным перед Социумом — и потому я именно ХОЧУ быть за отца ответчик!..)

И под конец он предложил — не помню, в каких словах, но примерно так: — Поскольку отношения наши не надо разглашать, Вам лучше иметь псевдоним какой-нибудь — ну, например, «Михайлов»... Ну, а чтоб не спутали, подтвердите идентичность: что «Михайлов» — это Гачев...

И вот я подписал какую-то таковую бумагу...

— Ну вот и хорошо. Когда-нибудь Вам позвонят — ничего срочного. Живите и работайте спокойно...

Вышел я со скверностью в душе... Но, собственно говоря, ничего ж плохого я не сделал...

И забыл я об этом... Проходит месяц, еще... И все же — звонок в школу, в учительскую — меня зовут: «Вы — Михайлов? Не могли ли б зайти по такому адресу?»

И где-то в переулке домик неказистый, но взошел — комната в коврах, мебель... Представляется осанистый «джентльмен»:

— Я Сладковский (так вроде...) — имени и отчества не помню — все равно поддельные, как и «фамилия»...

Расспрашивает, угощает в креслах за столиком — чай? кофе? может и еще и коньячок?.. и фрукты? То да се, и вот конкретно:

— У Вас в школе работает Напреенков Федор... Знаете его?

— Очень отдаленно: он преподает русский язык и литературу в 5–7 классах...

— Видите ли, он был на оккупированной территории во время войны. Не могли бы Вы с ним сблизиться, разговориться, почувствовать, чем дышит человек?..

Я представил себе этого невысокого, даже чуть сгорбленного человека, скромного и молчаливого, в очках и с грустным выражением лица, обремененного семьей... — и мне пакостно стало...

Я отшутился: что характер у меня замкнутый, и с людьми трудно схожусь...

— Ну что Вы! Вы вполне общителен! С «прекрасной дамой» Брониславой дружите, — рассмеялся он... — Небось — амуры?.. А ведь она нас тоже интересуется. Откуда-то она из западных областей — полька. Тоже была под оккупацией... А работа-то ее ответственная: она принимает информацию ТАСС из Москвы...

(Да, когда приходил к ней в кабинет, она записывала по радио или телефону — и медленно, четко произносимые слова диктора — и я молчал и ждал.)

Так что разговорите ее... Нам было бы интересно...

Когда вышел — уже: «Вон оно что! Хомутают!» Надо отвертеться... Первым делом тут же перестал встречаться с Брониславой... С Напреенковым — как здоровались отдаленно, так и продолжали... Опять шел месяц, другой — не звонят, не отстали ли?.. Была уже весна 1954 года, я подал заявление в аспирантуру ИМЛИ — и нацелился на возврат в Москву... И — исчез с их горизонта. Правда, по временам вздрагивал: а вдруг ниточка тянется — и звончек раздастся уже и тут? В Москве?.. Но — ни слуху, ни духу... Неужто отстали? Затерялся?.. Ведь и у НИХ не железный немецкий порядок, а русский с прорехами?.. Наверное — так. И — пронесло, слава Тебе, Господи!

Но никому об этом не рассказывал... Лишь спустя много — жене Светлане — когда она рассказывала, как ее, студентку, работавшую с приезжавшими французами, — вызывали и инструктировали — и как она отмоталась.

И вот первый раз в «записюрьку» в слово и букву этот свой все же потайной эпизод-грех — заношу, исповедую, очищаюсь...

...Вот это да! 3.20 уже. 5 часов сижу-пишу! Увлекательно, значит, — вспоминать!..

Из Брянска в Москву — на похороны Сталина!

5 марта 1953 г. умер Сталин! — и рванул я на похороны в Москву.

В Москву из Брянска съездить нетрудно: поездов проходящих много — из Киева и др. — или билет купишь, или с проводником договоришься, залезешь на третью полку (что под багаж), ночь прокемаршишь, полуспя, — и утром в Москве. И — *vice versa* — наоборот. Вечером в пятницу — в Москву, в ночь на понедельник — в Брянск, к уроку...

Ну, в эти дни, казалось, вселенской катастрофы, усидеть на месте, да молодому москвичу, — трудно. Да и любопытство: все ж «роковая минута» Истории! Поехав, позвонил другу — Бочарову Сергею — и встретились на площади напротив Моссовета — с целью прорваться на улицу Пушкинскую и по ней в Колонный зал, где выставлен гроб с телом. Но не одни мы — такие «умные» и шустрые: площадь непроходима — броуново движение атомов людей застывает в вязкую колышашую массу, волну, что бьется о заслоны грузовиков... не знаю, как, но — юля, как-то проталкивались вперед — сперва вместе, потом разорвали нас — и поодиночке...

Был какой-то спортивный азарт и энтузиазм — пробиться — и всем как-то весело было — при том, что — крики, визги тех, кого сдавили, брань... Толпу как живое дышащее тело, с перистальтикой кишок, а ты — кровавое тельце в ее кишках, — так мощно ощутил — всеми боками. И притом — недвижна, а внутри — микродвижения как-то идут и куда-то тебя выносят — каким интегралом мириадом таких же частиц внутри, как и ты?.. Но к улице я приблизился — но как миновать заслон грузовиков и милиционеров? Занесло в какую-то подворотню, двор... И там полез — на крышу... Не я один: маршрут уже проложен, но — рискованный... Но ведь и назад-обратно ходу нет... Так что — ловчи руками и ногами, «альпинист», — вот тебе восхождение!.. И верно: по крышам, с одной на другую, уже оказался на крыше дома на Пушкинской, как-то слез — и вот уже в кишке толпы, организованной в очередь, встал двигаться вниз. Тут уже конвейер понес — и вошел. Конечно, святителище, торжественные минуты, классическая музыка... Не помню: была ли в душе скорбь, но ликование — от удачи попасть! — распирало грудь — так что едва удерживал гримасу радости... чтоб не выскочила...

Вышел из зала на Охотный ряд (тогда «Проспект Маркса») — уже как опустошенный. И верно: катарсис = очищение души страхом и со-страданием — действительно, произошел и уже — позади: великий исторический спектакль — и ты в нем со-актер...

Кавказ летом 1953. Провал в трещину. Восхождение на Эльбрус

На лето 1953 г. я сагитировал «наших» пятерых университетских «брянчан» и еще двух-трех из Брянска — на поход по Кавказу. Маршрут предложил

тот же, каким ходил летом 1949: он идеален для начала и влюбления в горы и походы. Имея II разряд по туризму, я был начальник. Но еще легко достал себе путевку в альпинистский лагерь в ущелье Адыр-су («Буревестник», кажется), благо на Брянщине на то дело еще мало претендентов. По времени — так: сначала в альплагере, а уже в Теберде присоединюсь к группе, которую туда Леша Попов (тоже туризмом увлекся всерьез) доставит.

В альплагере были вершины, перевалы, но запомнился перевал Гумачи. Шли по леднику, я — замыкающим. Беспечно развязали парные связки... И вдруг я провалился и полетел вниз. Трещины-то были скрытые, под снегом. Те, кто шли впереди меня, постепенно продавливали снежный мост, а подо мной он — и рухнул...

Но опять — удача: тот массив снега, что образовывал «мост», летел подо мной тоже; пролетели мы метров пять: трещина сузилась — и снег застрял, и я поверх... Тут наверху уже спохватились, скидывают мне веревку — уцепился — и глянул вниз. А далее трещина снова расширялась — глубиной метров в 20... Оттуда бы вряд ли... выкарабкался.

Да, второй момент, когда чудом жив остался: первый — перед полынью на Десне, зимой на коньках катаюсь... Ну и потом еще будут!.. Падая, испугаться не успел, но потом, неся в очах расширяющуюся трещину ледовую, хрустальную, прекрасную... — потрепетывал.

Среди альпинистов в этом лагере была группа из Ленинградского института физкультуры имени Лестгафта, которая намеревалась по окончании совершить восхождение на Эльбрус. Я присоединился к ним. В лагере мне выдали значок III разряда по альпинизму, снаряжение у меня было свое (потом же в поход), как и у «лестгафтовцев», — и мы двинулись из ущелья Адыр-су (или Адыл-су?.. — вот уж память путает такие святые для альпинистов имена!) в долину Баксана, у верховьев которой стоит Эльбрус... (Кстати, отец мой несколько статей подписал псевдонимом «Д. Баксан».)

Восхождение на Эльбрус занимает 4 дня. Первый — подъем на «Приют одиннадцати» на высоте 4100 метров. Второй — жить там сутки — акклиматизация к высоте. Приют — это такой алюминиевый корабль-«гостиница» наледово-снежном поле:



Перед восхождением на Эльбрус.
Лето 1953. Архив семьи Гачевых

в снежки там кидайся!.. На третьи сутки — подъем в ночи еще, часа в 2–3 — и начало восхождения. Мороз — 15 градусов, хотя был июль, и внизу в долине — 30 жары. Топаем вверх — пока полого... Темно. Вдруг вверху — загорается одна вершина — как розовый сосок белой груди, затем — второй!.. Прямо в небе, связи их с низом — не видно... Божество! Восторг распирает — несет вверх...

Потом, от Приюта Пастухова (высота 4800 м.) начинается работа: уже крутизна склона покруче, выход на седловину между двумя вершинами... Тут привал, передых, едим шоколад, что выдали, плитку. Озираем Главный Кавказский хребет: Эльбрус — то: потухший вулкан, в стороне, как «страж Кавказа» (эпитет Лермонова Казбеку).

Уже солнце осветило все вершины — стоят пики парадом, во фрунт перед дядькой — седым Эльбрусом...

С седловины начинается ледовая работа: поочередно рубим ступени ледорубом. Дышать трудно — высота уже 5.300... Наконец — вышли на пологое плато — и вот — вершина! Западная — 5.643 м. Восточная — чуть пониже... Но слово «вершина», когда на ней, — это смех: расстилается ровное плато, величиной с футбольное поле! Ну да: кратер же... засыпанный...

На вершине — часа в 2–3 дня. Надо спускаться — успеть до темноты. А темнеет быстро в горах — и на Эльбрусе бывает пурга. Лестгафтовцы поставили на вершине бюст (не помню, кого — Лестгафта или Ленина?..) и вымпел — и начали спускаться. Спуск в горах вообще-то опаснее подъема: на подъеме напряжен и внимателен, а при спуске расслаблен «победою» — можешь поскользнуться, сорваться — большинство несчастных случаев в горах — при спусках... А тут он еще и долог и даже нуден под конец. Притормаживая ледорубом, скользили по снегу, как на коньках...

А на следующий день, четвертый, когда спустились в долину, нас ждала новость: «Разоблачен враг народа — Берия». Вот те на!.. Ожила политическая жизнь и интерес, замерзшие на советчине «в мощны годы»... Помню и песенку, что уж пели:

Цветет в Тбилиси алыча —
Не для Лаврентья Палыча,
А для Климент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча...

...О, уже закат начинается. 8.30. Целый день — дождливый — сижу в избе и пишу. Не помню уж, когда так работал. Хорошо, что приехал в деревню. В Переделкине бы — помехи и сюжеты отношений, которые расхлебывать, пища, — и так отвлекаться... Так что еще тут посижу: и корм грибами подержит, и картошка есть и прочее: крупа, сахар, чай, подсолнечное масло —

завезли Св. и Н.: рассчитывая пожить, а погода испортилась — и убежали. Теперь мне вывозить...

После Эльбруса — летел я воссоединиться с группой «брянчан», на перекладных, из ущелья в ущелья — к ночи добрался в Теберду, но они уже ушли на Муруджинские озера. И я ночью сделал бросок-переход, в нетерпении увидеть ЕЕ!.. Очередную воображаемую, на кого я навешивал мечтания... На сей раз в этой роли — Валя Манечкина, учительница в Брянске, нашего поколения, на кого я положил глаз весной в Брянске и уговорил пойти в поход. Она — миленькая, пухленькая, простенькая — а я все после «сложной Эми» о простой немудрящей и русской мечтал... На этой роли немножко побывала еще под конец Университета Ира Гастева — комсомолочка, агитсектор бюро на курс ниже... Пришвартовывался я, в ее группу ходил, даже в дом на Ордынке, кажется... Но уныло прозаично мне было — надумывал я себе ее, искусственно надувал в воображении. Как вон и в Брянске — Манечкину... Нет, с другим кем — они могут игривы и возлюбленны, но при повороте в мою сторону — натужны, как и я к ним.

Словно, разорвав с Ноэми, я убил теплое живое существо любви нашей — и замерз душой. Пытался из головы разогреться на кого... — ведь надо же «иметь предмет» — и может, что и выйдет?.. Но все напрасные усилия. И «предметы» мои удивлялись на меня: и чего это он ходит? Ведь явно не мой



Турпоход по Кавказу. 1953. Архив семьи Гачевых

жанр!.. Только время отнимает и пустые планы будит... Ну и я с облегчением — когда само собой рассеивалось все...

Так и с этой Манечкиной в походе: когда прилетел — как Чацкий:

Спешил, летел, дрожал — вот счастье, думал, близко! —

а она оказалась такая НЕ ТА!.. И ей другой — какой-нибудь Молчалин Софье или улан Ольге, или журналист Алексей в «Брянском комсомольце», с кем у нее — легкие амуры... — подходит...

Но поход все равно приятный был. На тропе встретился с музыковедом-альпинистом Фортунатовым Юрием. Ему под 50, загорелый, в шортах, привез свою студентку из консерватории: белая, полная, рыхлая, подвернула ногу, и мы, мужчины, выручая его, несли ее в Теберду. Вденет она ножки в лямки твоего рюкзака — и взваливаешь на себя... Пронесешь переход — кг 25 рюкзака да и в ней — за 60!.. — шатаясь, спустишь — и передашь другому...

Грызть плоти гонит к Богу. Дождь — в избу памяти

5.9.2003. Скверность снаружи: морось, холод, сырость... Что ж: загоняет внутрь — в воспоминания погрузимся.

Вот правило Бытия — и в Боге: реактивный принцип — причина движения. Если плохо и боль здесь и теперь — оттолкнемся и возлетим куда-то ТУДА — там лучше, «где нас нет». Там — ДА! Там — Бог, Истина, суть.

Вон по радио «Церковь» толкование на слова ап. Павла — о жале плоти: «чего не хочу — то делаю» — и единственное прибежище — Бог: к Нему обратиться, возлететь душой. И в связи с этим — божественное оправдание плоти в нас. Ведь Бог мог, сотворив души, так поставить в нас существовать ими, не облекая плотию. Но, чтобы завести движение в сфере Духа, Он погружает дух и душу в тело — и тем создает реактивный принцип — стремления, воли к возврату из ссылки — на родину — к Отцу — как в притче о Блудном сыне. Плоть нам дана, чтоб было чем ощущать боль. И именно в болезни и страдании — вспоминаем о Боге, прибегаем к молитве — и цепляемся за Небо, в Дух — и так питаем пространство Духа и Идеального своими снизу устремлениями. Как и у Некрасова:

Мы любим и брата, сестру и жену,
Но в муках мы — мать вспоминаем.

И — Бога: его «тело» Целое творим импульсами своих к Нему волеизъявлений = чаяний и молитв. И — стихов, слов...

Как часто пестрою толпою окружен...

Ласкаю я в душе давнишнюю мечту (Лермонтов)

То есть когда мне — плохо, улетаю в Идеальный мир, творю его.

Но — при надобности Богу придать нам плоть, — понятен и Дьявол и Сатана: его роль — заведовать сею субстанциею, содержать мир во зле (он — «Князь мира сего»), а тело — в боли, душу в страдании, — чтоб был в нас вечный порыв и Любовь к Богу, Его творя своею свободною волею.

Свободна она потому, что есть выбор. А будь одно Благо и Дух — статика, никакого движения и дыхания в Бытии. Так и философы рассуждают: не может быть одно Бытие, а непременно должно быть и Небытие, Ничто — как «Основа в Боге» (Шеллинг), бездна «Унgrund» (мейстер Экхарт), сюжет: «Небытия вовсе нету» (Парменид). Нуль и шуньята в Индии...

Без этого не было бы НАЧАЛА. Вот сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю». Ну а откуда взялось это само Начало, что стало Причина и сего Творения — как вида Движения?..

То-то же!..

Надписывая заголовок, вспомнил слово «грызть», что бабка Дуня в Щитове в 1970 году про свою грыжу сказала. Плоть именно грызет нас — угрызения и совести оттуда реактивно возникают-вылетают и выносят нас в Дух. Грызть — и Грусть-тоска, что «меня снедает».

Ну да: Плоть — грызет, снедает нас, хотя по видимости мы кормимся материей мира. Ну да: мы едим, а кишки — нас едят. Взаимо-обмен! Бартер! «Вземане-даване» (болгарское понятие).

Но постой! Что ж ты в одну сторону вдаль? Телесность — ведь источник наслаждений и радостей: любовь, вода, еда, сила тела и упругость мышц — для труда-работы. Радость скорости бега и спорости работы! И тоже священниками проповедуется: что мы должны заботиться о здоровье тела: оно — Богоугодно...

Ну, конечно: чтоб было что мучить — болями и грехами-винами — чтобы привести к Богу: в конце концов — именно! — при смерти тебя и мира (светопреставление, эсхатология...). А посреди — в Жизни и Истории — живи, трудись, наслаждайся материей, телесностию, плотию!.. Чем слаще посередине — тем больше расставаться с сим в конце! И тем сильнее импульс Богу — как у разбойника Кудеяра. Потому Достоевский писал «Житие ВЕЛИКОГО грешника» — как ближайшего со-вторца Богу (да: со-ВТОР-ца. Ибо Дьявол не первичен, а вторичен: «обезьяна Бога» — не творит, а повторяет. Как в музыке есть «втора» — как второй голос, под-голосок, что обвивается о первый — мелодию — как плющ — о ствол).

Теперь и Достоевский понятнее — его поддонная метафизика. Почему «Жизнь полюблять» и такие жизнелюбы и Федор, и Митя, и Алеша? А это — именно с перспективой (а не статически тупо) — боли, страдания, жертвы — себя приношения Духу и Богу во жертвенной Любви. Но перед этим — СЛАДОстрастие должно быть, как ипостась Любви.

Да и Богу нужна не худосочная, анемичная безжизненная жертва — но прекрасно изукрашенная!.. Так и в древних и иудейских жертвоприношениях.

Так что эти монахи — аскеты, что умерщвляют плоть при жизни — хитрецы; захотели Бога перехитрить... Глупцы! Однолинейный в них рассудок и логика формальная, — не диалектическая...

Ну а за сим уразумением строения Бытия продолжим следить мое жизнепрохождение — в этом силовом поле: меж Плотию и Духом и как крупички Смысла Жизни добывались в этом ЗАБОЕ — как в шахте. Ну да: Жизнь есть ЗА-БОЙ: и Бой — на глубине недр-нутри «я» и души, где и «царствие небесное внутрь нас есть» = погружено. Но и — забой нас, как скота на бойне — в итоге... Так что мир = СКОТОПРИГОНЬЕВСК! — недаром такое имя дал Достоевский городу, где действие «Карамазовых» совершается — как и священно-и-тьмо-ДЕЙСТВО.

Вкус Жизни и смысл Жизни. Против ли?..

1.30. Опять ВКУС ЖИЗНИ — ощутил и ощущаю. А чем Вкус Жизни хуже или постыднее, чем Смысл Жизни?

Это собрался, наконец, поехать в нашу столицу — село Каменское и уплатить и налоги за прошлый и этот год, и за электричество — с Разгуловыми, они туда же в магазин. Только подъехали на машине меня звать — у них взрыв какой-то — окатил фонтан жидкости самого — они назад, а я, уж раз собрался в кои-то веки, вышел на дорогу — в надежде на попутной добратся. И — повезло: машина с другого конца Новоселок подхватила — и за полчаса уплатил — 400 р. за два года (дом и свет) — немного — успел купить хлеб (Разгуловы заказали) и пиво — вышел на дорогу — и машина останавливается: «Садитесь!» — «В Новоселки?» — «Да мы ж Вас знаем — под Вашим домом»: Роман и Елена, из Нары. Мило говорили, я пригласил их яблоки собирать. Потом зашел к Разгуловым: они дивились: за час-полтора смотался — так быстро: «Ну, Вас знают! По телевизору видят!..» Тут же пиво попили, Тамара — борщ. Порасспросил я ее про «Русский Эрос» мой — прочитала.

— В моем поколении об этом стыдно. Но вот читала — и оказывается: все на этом! Читать интересно.

— Ну, не «все», а много. А как линия моей жизни и идеи обо всем?

— Естественно переплетаются и одно — из другого.

Он рассказал о фильме «Новые амазонки» — фантастическом: как государство женщин без мужчин — и размножаются из пробирки — в лоно. Но как два мужика — размороженных — «растлили» их: явили сласть дедовского способа, обнимая, целуя и проч... Интересна утопия — на основе техники нашего времени — и нового матриархата активной женщины — и самооборона гонимых мужчин...

Пришел, кофеек выпил — и вот сел... О, Радость Житейщины простой! А и солнышко. Попишу, подсохнет — и покопаю.

Итак, продолжу «одиссею» своей жизни, где как раз сюжет: как сочетать Вкус Жизни и Смысл Жизни? И как раз труднее мне давался на первой половине пути — именно Вкус жизни: чтоб «как все» люди жизни в нем обитать, приобщиться. Конечно, я смысл жизни искал — об этом и в песенке про меня — см. выше. Но стыдно мне было чувствовать себя обреченным на Смысл жизни — оттого, что отлучен испытать ее Вкус... А так именно со мной было — кто с детства в культуре рос: книги, гаммы... — а дружить с парнем и обнять девицу, женщину — для меня — проблема — неуловимая и неразрешимая. То есть то, что так естественно дано всем... Как в стихах Георгия Иванова:

Я хотел бы...
В дом придти
Я хотел бы так немного:
То, что есть почти у всех,
Но что мне просить у Бога —
И нелепица и грех...

То-то о Грехе рассуждают так много те, кому не дан Вкус существования. Потому-то и я, забросив Учебу, штурмовал Жизнь! Но она меня откатывала назад — как волна, не давая выплыть на берег.

(Окончание следует)